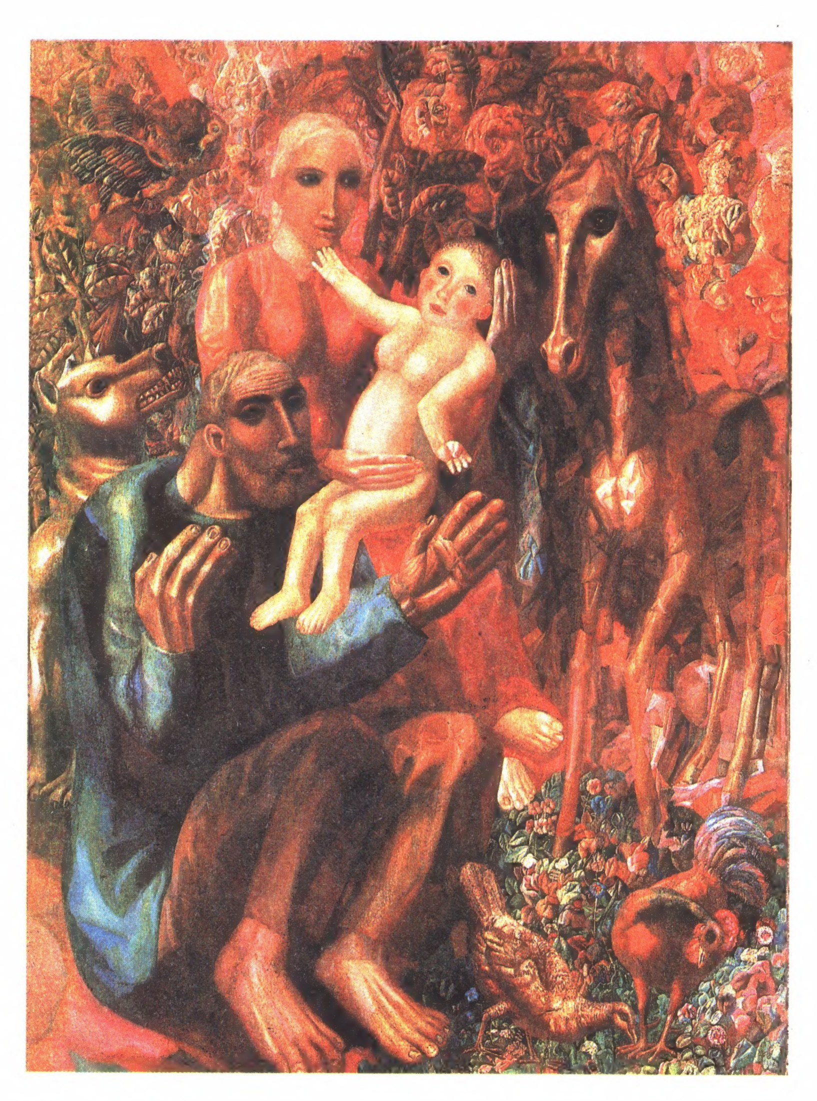
ISSN 0320—6858

1'89 АВРОРА

ДИАЛОГИ «АВРОРЫ»: слово — Даниилу Гранину ✧ РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ: Н. С. Хрущев на «Балтике» ✧ ОТКРЫТЫЙ АРХИВ: стихи Владимира Высоцкого ✧ Рассказ для кино «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО» ✧ ДЕБЮТ: повесть Николая Иовлева «Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ...»





Павел Филонов
«Крестьянская семья»

Издается
с июля 1969 года

АВРОРА

1-1989

Общественно-политический
литературно-художественный
ежемесячный журнал
ЦК ВЛКСМ
Союза писателей СССР
Союза писателей РСФСР

ЛЕНИЗДАТ

СОДЕРЖАНИЕ

На первой странице обложки иллюстрация Геннадия Ежкова к повести Николая Иовлева «Я ничего не боюсь...»

Художественный редактор Валерий Бабанов
Технический редактор Заре Оганова
Корректор Тамара Княжицкая



Алексей Юдин,
командир крейсера «Аврора»

НИТИ НАШЕЙ ДРУЖБЫ

Представляю, каким красочным, ярким оказался первый день нового года на Кубе. Ведь именно в этот день тридцать лет назад здесь произошла социалистическая революция. Полгода назад, в последнюю неделю июля 1988 года, я побывал на Кубе и, можно сказать, видел репетицию этого праздника. То были торжества в честь тридцатипятилетия со дня начала боевых действий против правительства Батисты и его сторонников. 26 июля 1953 года группа патриотически настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро пыталась штурмом овладеть казармами Монкада, расположенными в районе города Сантьяго-де-Куба. Их задачей был захват оружия, чтобы вооружить народ. Выступление окончилось неудачей. Кастро и его товарищи были схвачены и заключены в тюрьму. Через три года, очутившись на свободе, несгибаемые революционеры осуществляют новую дерзкую акцию. В одну из темных ночей декабря 1956 года после изматывающего перехода по бушующему Карибскому морю от Мексики до Кубы на небольшой яхте «Гранма» они высадились на родной земле. Место высадки оказалось неудачным. К тому же смельчаки были замечены береговым охранением. Но об отступлении не было и речи. С тяжелыми боями революционеры пробивались от побережья в глубь острова. Только двенадцать человек (из восьмидесяти двух), среди них был и Фидель Кастро, вырвались из окружения и ушли в горы Сьерра-Маэстра. Очень скоро эта горсть храбрецов, пополняясь за счет местных крестьян, превратилась в мощный партизанский отряд, который, в свою очередь, через некоторое время вырос в повстанческую армию.

Это было мое второе посещение Острова Свободы. В первый раз я побывал здесь в 1972 году. В то время я был курсантом Каспийского высшего военно-морского училища. Мы проходили практику на учебном корабле «Гангут». В нее входил поход к берегам Кубы. Это было ни с чем не сравнимое путешествие, о котором мечтает каждый начинающий моряк: через Черное море, Босфор, Дарданеллы, Средиземноморье. Затем — Атлантика. А потом были два-

дцать дней на Кубе, в течение которых мы исколесили всю страну, встречаясь с молодежью, рассказывали о своей стране, выступали с концертами художественной самодеятельности. Незабываемое впечатление оставила эта экзотическая страна в тропиках со своими бесконечными песчаными пляжами под синим солнечным небом, кокосовыми пальмами, уютными лагунами с удивительной чистоты голубой водой, в которой тьма всякой живности. Но самое большое впечатление оставили жители Острова Свободы. Ни до, ни после я не встречал более жизнерадостных и открытых людей, чем кубинцы. В этот раз я еще раз убедился в справедливости своего первого впечатления. Темперамента, оптимизма, добрых чувств к нам, советским людям, у кубинцев не убавилось. Скорее, наоборот. Наши отношения стали еще более теплыми и дружескими. Если в первое свое пребывание я чувствовал себя здесь дорогим гостем, то сейчас — близким другом или давним товарищем. Ведь теперь наши страны еще более крепко связаны сотнями, тысячами нитей деловых и дружеских контактов.

Как уже говорилось, мы — небольшая делегация Ленинграда: секретарь Ленинградского обкома КПСС Дмитрий Николаевич Филиппов, руководитель делегации, заместитель председателя Леноблисполкома Юрий Федорович Яров и я — прибыли на Кубу на празднование тридцатипятилетия со дня штурма казарм Монкада. Торжественному дню предшествовали традиционные в это время кубинские карнавалы.

Карнавал на Кубе — грандиозное, незабываемое, ни с чем не сравнимое событие. Представьте широкую автостраду, идущую параллельно прекрасной морской набережной кубинской столицы. В дни карнавалов вдоль автострады устраиваются трибуны. Длина их примерно четыре километра и размещается на них до полумиллиона зрителей. Столько же людей участвует в карнавале в качестве действующих лиц. Празднество начинается вечером, когда спадает дневная жара, и продолжается всю ночь, до пяти утра. Все это время вдоль трибун движется нескончаемый поток людей, поющих, танцующих под зажигательные ритмы латиноамериканских мелодий, которые исполняются самодеятельными оркестрами. Музыканты, танцоры, певцы концентрируются вокруг движущихся сценических площадок. Эти движущиеся театральные площадки заслуживают отдельного разговора. У каждой свой, неповторимый вид. Одна напоминает сказочный дворец, другая — часть экзотического природного ландшафта, третья — невиданное животное, четвертая — вся в цветах. Многие площадки трех-четырехъярусные. На каждом ярусе свое сценическое действие. На одном размещается оркестр, на другом — певцы, на самом верху — как правило — танцовщицы. Карнавал движется со скоростью, примерно, километр в час. Около четырех часов находятся участники представления перед зрителями. И все это время каждый из них не дает себе ни секунды передышки. Никогда бы не поверил, что такое возможно, не увидев всего этого своими глазами. И здесь надо добавить, что на Кубе в это время года температура даже ночью редко опускается ниже 30 градусов тепла.

Одновременно с гаванским аналогичный карнавал проходит и в Сантьяго-де-Куба. Между жителями этих двух крупнейших городов Кубы существует даже своего рода соревнование: чей карнавал получится красочнее, веселее и многолюднее. Мнение большинства кубинцев: жителям Сантьяго-де-Куба карнавалы, как правило, удаются лучше, чем гаванцам. Что касается этого года, то, на мой

взгляд (мне удалось быть зрителем обоих карнавалов), победили жители столицы Кубы. Может быть, в ту ночь сыграл свою роль легкий бриз с моря: он принес некоторую прохладу в Гавану, и это добавило дополнительные силы и энергию участникам праздника.

Еще одним событием, запомнившимся надолго, был митинг в Сантьяго-де-Куба, посвященный тридцать пятой годовщине штурма казарм Монкада, на митинге выступал Фидель Кастро. Вопреки всем законам психологии восприятия устной речи Кастро говорил долго — более трех часов, да и аудитория — триста тысяч человек — была далеко не оптимальной с точки зрения установления доверительного контакта между слушателями и оратором. Но он говорил так, что все триста тысяч кубинцев, собравшихся на центральной площади, слушали, что называется, на едином дыхании.

Напомнив исторические вехи создания первого социалистического государства на американском континенте, назвав героев, погибших в революционной борьбе, Кастро подчеркнул важность воспитания нового поколения революционеров на примере героического прошлого страны. Кстати сказать, на этом митинге в президиуме на самых почетных местах сидели все ближайшие родственники погибших за революцию героев, и оказалось, что Фидель Кастро многих героев знал лично. Да что Фидель, их имена знает каждый кубинский школьник. И это не удивительно. На Кубе сделано многое, чтобы увековечить имена героев. На всем пути от виллы, где перед штурмом казарм Монкада укрывались повстанцы, руководимые Кастро, до места сражения установлены бюсты погибших героев. В Гаване мы посетили Музей Революции. Он расположен в бывшем дворце Батисты. Сейчас здесь собрано все, что связано с революционным движением на Кубе в пятидесятые годы. На открытой площадке установлена военная техника, которую повстанцы использовали в боях против войск Батисты. На самом видном месте знаменитая шхуна «Гранма». Между прочим, миниатюрная копия «Гранмы» вот уже более двух десятилетий украшает один из музейных залов крейсера «Аврора». Это подарок кубинских военных моряков, побывавших в Ленинграде с дружественным визитом в 1965 году. Особый памятный подарок был в этот раз и у нашей делегации — модель крейсера «Аврора», изготовленная моряками-авроровцами, проходящими срочную службу на легендарном корабле в настоящее время. На ней написано: «Кубинскому народу от города Октябрьской революции».

Мы вручили этот подарок первому секретарю обкома партии провинции Сантьяго-де-Куба товарищу Лассо. Вечером после митинга, на котором выступал Фидель Кастро, на официальном приеме в честь тридцатипятилетия штурма казарм Монкада состоялась беседа нашей делегации с Фиделем Кастро. Руководитель Кубы рассказал о проблемах, стоящих перед кубинским народом в области экономики, интересовался ходом перестройки в нашей стране. Когда речь зашла о Ленинграде, я напомнил Фиделю о том, что у нас на «Авроре» в Книге почета хранится его запись, сделанная в 1963 году. Он стал вспоминать свое пребывание в Ленинграде, посещение «Авроры». Узнав о недавней реконструкции крейсера революции, начал подробно расспрашивать меня о проделанной работе, о том, какую роль «Аврора»-музей играет сейчас в воспитании советской молодежи. В заключение Фидель Кастро просил передать привет экипажу нашего крейсера, ленинградцам и всему советскому народу.

СТИХИ ПОЭТОВ КУБЫ

От переводчика

Во время своего первого плаванья через Атлантику, почти пятьсот лет назад — 28 октября 1492 года, Христофор Колумб, увидев сверкающую изумрудной зеленью полосу земли, воскликнул: «Это самая красивая земля, которую когда-либо видели глаза человеческие!» Это была Куба.

Тридцать лет тому назад на Кубе победила народная революция. Новый, 1959 год открыл новую эру в истории всей Латинской Америки: впервые в западном полушарии было создано социалистическое государство.

В революционных преобразованиях, проходивших на Кубе, активное участие приняли и деятели культуры. В их первых рядах — поэты. В подборке, которую мы предлагаем читателям, — стихи кубинских поэтов разных поколений. Здесь и великий национальный поэт Николас Гильен, родившийся в 1902 году, и поэты, вступившие на литературный путь еще до победы народной революции (Элисео Диего, Альберто Рокасолано), и более молодые — те, кто начал творить уже в последнее тридцатилетие (Освальдо Наварро, Густаво Гомес, Даниэль Лосано).

Николас Гильен

Ленин

Та сильная и крепкая рука,
что свергла царский трон, — ты знаешь? —
была нежнее лепестка.
Чья это сильная рука —
и властная, и нежная, — ты знаешь?

Тот голос, что острее метких стрел
и ярче жаркого огня, — ты знаешь? —
во славу жизни пел.
Чей голос был острее стрел
и славил жизнь счастливую, — ты знаешь?

И ветер, что ревел во тьме ночной,
как разъяренный бык, — он становился
ласкающей волной.
Тот ураган ночной
воздушной ласковой волною становился.

А солнце, что небес сжигает синеву
и землю выжигает, — осушило
слез горестных Неву,

Небес сжигая синеву,
нам слез потоки солнце осушило.

О Ленине веду рассказ я свой,
повсюду он с тобой.
С крестьянином идет лугами и полями, —
повсюду он с тобой.
С солдатом он не спит тревожными ночами.
Народ, ведущий с недругами бой, —
повсюду он с тобой.

У доменных печей, в которых бьется пламя;
как солнце над землей,
весеннею порой, —
твой верный друг, повсюду он с тобой.
Он — сталь и песня, ураган и знамя.

Элисео Диего

Из книги «Толкования»

Петух

Кому на рассвете петух шлет свой привет —
издалека далеко?

Когда ничьи шаги не слышны, когда умирает ночь, —
кому кричит петух одинокий?

Когда во мраке еще земля, кому он кричит, —
петух одинокий? Задорно, упрямо, далёко.

Альберто Рокасолано

С приходом весны

С приходом весны — смерть отступает;
и ветер — не жалобен,
не боязлив,
он шуршит перед дверью и пленяет прохладой.
Прекрасное время для размышлений.
Лучшее время — для того, чтобы родиться и доказать:
если есть у людей память — смерти на свете нет.

Освальдо Наварро

Восхваление красоты

Красота — это женщина. Силою властной
ее для нас оживил Гомер.
На землю явилась из высших сфер, —
ее называют Еленой Прекрасной.

Красота — это женщина. Брошен вызов:
чтоб разгадать красоты секрет,
художник пишет ее портрет, —
она называется Моной Лизой.
Красота — это женщина. Вновь и вновь
пытаясь понять, что такое любовь,
мы познаем идеал красоты.
Жажда любви в нас неутолима.
Женщине, любящей и любимой,
мы говорим: красота — это ты!

Даниэль Лосано

Глаза

Героям штурма казарм Монкада

Чтоб этой грохочущей были
не затихала гроза,
одни — закрыли глаза,
другие — глаза открыли.
Погибших мы не забыли;
бессмертными небесами
горят их взоры над нами.
Чтоб нам не гибнуть от пуль,
смотрит во тьму патруль
бессонными их глазами.

Густаво Гомес

Из цикла «О героях»

□

Можно
твой портрет напечатать на марках,
воздвигнуть памятники тебе,
издать сотни плакатов — во всех цветах радуги,
ты, партизан,
будешь на них
улыбаться.
Но я думаю: будет лучше,
если мы в воскресенье
пойдем работать на плантацию тростника,
или проверим еще раз оружие,
или сдадим экзамен,
или — научим ходить ребенка.

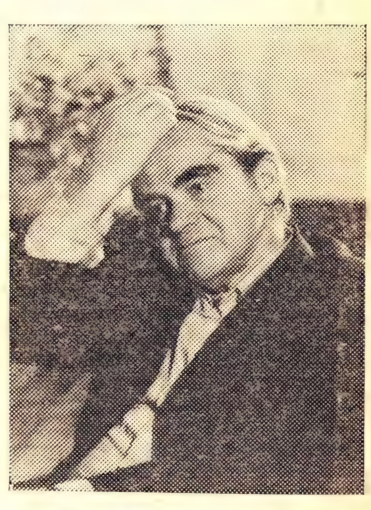
С испанского.
Перевел Виктор Андреев



«АВРОРЫ»

Даниил Гранин:

«ЖИЗНЬ СНОВА ИМЕЕТ СМЫСЛ»



С делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции писателем Даниилом Граниным беседует заведующий отделом прозы журнала Алексей Самойлов

У природы нет обратного хода: одна заря спешит другую сменить, одно время года — другое. Зима, весна, лето, осень — в таком вот порядке, не иначе...

Среди людей, в обществе бывает и иначе: весеннюю оттепель пятьдесят шестого, как мы хорошо помним, не сменило лето с его благодатным, благотворным теплом, с его очистительными грозами,

после которых легко и свободно, полной грудью дышится озонированным воздухом...

Лето года восемьдесят восьмого принесло тепло небывалое. Синоптики подсчитали, что не бывало такого тепла в начале июня сто девять лет. Научные сотрудники Гидрометслужбы по радио и телевидению предупреждали население, особенно лиц пожилого возраста, чтобы они поменьше времени проводили на солнце, потому как, растолковывали мне сообщение синоптиков соседки по дому в Шувалове, окруженные выводком внуков, солнце нынче особенно вредно из-за дыр в озонном слое и губительный ультрафиолет ничем, стало быть, не задерживается. Мы с женой вняли предостережениям старушек и синоптиков лишь наполовину, совсем свой воскресный поход на пруды в Шуваловском парке не отменили, но перенесли его на вечер, когда ультрафиолет, говорят, не столь уж вреден. Это высвободило почти целый день, в который я успел ответить еще на двадцать писем читателей по кунинской «Интердевочке», сходить на почту за шестыми номерами журналов и прочесть в «Знамени» мемуары Аджубея «Те десять лет» — о годах начавшейся после смерти Сталина оттепели, а в «Дружбе народов» — «Стрельбу влет» Стреляного — о наших годах, о том, как взращенный в удушливой атмосфере застоя аппарат обкома партии расправляется — уже после XXVII съезда — с первым секретарем сельского райкома, человеком, как о нем говорят в повести, «горбачевской волны».

Бескомпромиссного, сосредоточенного целиком на злобе дня, политического писателя Стреляного читал в первую очередь, раньше Набокова (он в той же, шестой книжке с изумительными «Другими берегами») — скажи кто мне такое четыре года назад, я бы ни за что не поверил. Но четыре года назад Набокова в наших журналах быть не могло, и казалось — долго еще так будет, очень долго... Правда, были люди, которые считали, что это — неестественно, противоестественно, когда такой выдающийся русский художник слова, как Набоков, на своей родине не известен широкой читательской публике. Были люди, которые не только говорили об этом между собой, но и предпринимали практические шаги, чтобы изменить это противоестественное положение. Один из них, Даниил Александрович Гранин, ставил вопрос о выпуске в свет двухтомника Набокова в издательстве «Художественная литература», членом редакционного совета которого он, Гранин, является. «Не понимаю я вас, Даниил Александрович, — сказал ему тогда один из руководителей отечественного издательского дела. — Вы же сами только что сказали, что Набоков — не просто хороший — превосходный писатель, так зачем же вам хлопотать за такого сильного конкурента?!»

Через день я должен был ехать в Комарово, к Гранину, о беседе с которым для журнала «Аврора» мы условились давно, и теперь, находясь уже в разогретом, рабочем состоянии, все прочитанное, услышанное, припомненное помимо моей воли связывалось в сознании с предстоящей беседой — и Стреляный, и Набоков, и Аджубей...

Возвращаясь из Шуваловского парка, мы с женой попали в грозу, которая в тот вечер не удалась. Шуму, треску много, толку мало: гром, молнии, все как положено, а разрядки настоящей, освобождения от переизбытка скопившейся энергии-страсти не воспоследовало — сыпанул дождичек, а до ливня дело не дошло...

Когда мы с Граниным ранней весной уславливались о беседе, он еще не был избран делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции. Нам в «Авроре» просто хотелось сделать приятное своим читателям, пригласив в качестве собеседника одного из крупнейших советских писателей, авторитетного у мыслящих, граждански неравнодушных людей с сердцами, настроенными на любовь и сострадание. Нам хотелось самим фактом публикации Слова Гранина выразить и свою, молодого журнала для молодых, признательность давнему автору «Авроры», поддержавшему ее в трудные годы становления, в связи с его юбилеем (Даниил Александрович родился 1 января 1919 года и, стало быть, к моменту выхода первого номера «Авроры» за 1989 год ему уже исполнится семьдесят лет, с чем мы и поздравляем — его, читателей и самих себя, делающих журнал, которому, кстати, в этом году исполнится ровно двадцать лет). Избрание Гранина делегатом на партконференцию, от решений которой так много ждет народ, очень нас обрадовало (конференцию загодя назвали судьбоносной, а судьбу страны должны решать мудрые, честные, совестливые люди), но зато осложнило возможность самой встречи для неспешной, обстоятельной, требующей немалой траты времени беседы. И без того сверх меры загруженный всевозможными обязанностями и обязательствами писатель попал теперь в страшный цейтнот, когда, если вспомнить его «Эту странную жизнь»: «Не время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие времени мчатся по пятам...» И чувствуя себя одной из гончих Божества Времени, я тем не менее (за моей спиной — читатели, дорогой Даниил Александрович, имя им легион, так что уж придется Вам потерпеть) позвонил Гранину домой и узнал, что он только что приехал из Москвы, где в Дубовом зале Центрального Дома литераторов вместе с другими видными деятелями нашей культуры встречался с президентом США Рональдом Рейганом, а теперь вот, если точнее, 2 июня Гранин предлагает пойти с ним во Дворец культуры Ленсовета к членам клуба «Перестройка», которые будут ему, делегату партконференции, давать свой наказ...

Перестройка общества, сознания и психологии пробудила общественную активность многих людей, прежде всего молодежи. «Аврора» уже писала о Группе Спасения, входящей в Совет по экологии культуры. Их много, этих неформальных групп, организаций, клубов, занимающихся и экологией культуры, спасением памятников старины, и собственно экологией, в частности проблемами дамбы, и вопросами экономики и политики. Об одном из таких политклубов — в городе Набережные Челны — рассказывала «Советская культура». Этот клуб провел в марте 1988 года научно-практическую конференцию «Н. И. Бухарин и его роль в истории советского общества». Этому клубу, да и не только ему, разумеется, близка мысль Бухарина: «Я утверждаю, что всякий мыслящий человек не может стоять вне политики». И в Набережных Челнах, и во Дворце культуры Ленсовета, где нашел приют клуб «Перестройка», считают, что самое главное сейчас — заняться вопросом об отношениях общества и государства. Считают так — и занимаются этим на заседаниях своего политического клуба — в форме диалога, дискуссий, в которых участвуют и сами члены клуба, и приглашенные гости — московские юристы и экономисты, ленинградские ученые и писатели... Мой коллега-журналист, хорошо знающий неформальные объединения ленинградской молодежи, называет клуб «Перестрой-

ка» одним из самых серьезных и основательных, а людей, собравшихся в нем, — эрудированными, социально активными...

Для того чтобы не опоздать на заседание клуба, Гранину пришлось уйти с собрания в Доме писателей, где к этому времени выступило двадцать два человека, представлявших разные творческие союзы города, подвергшие серьезной критике порядок выдвижения и избрания делегатов на Всесоюзную партконференцию на пленуме Ленинградского обкома партии... Одним из двадцати двух выступавших (а всего — активность неслыханная! — выступило тридцать семь человек) был писатель Гранин...

«Перестройка создала принципиально новую идейно-политическую ситуацию в обществе, — говорится в Тезисах Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. — Она стала реальностью, набирает силу, распространяясь вглубь и вширь, охватывая все слои и сферы жизни общества. Февральский (1988 г.) Пленум ЦК определил идейную сущность происходящих процессов как революцию сознания, идеологического обновления. Характерная черта нашего времени — становление реального плюрализма мнений, открытое сопоставление идей и интересов. Благодаря этому советские люди получают возможность полнее использовать свой интеллектуальный и нравственный потенциал, активнее включаться в общественную жизнь».

Теплым летом восемьдесят восьмого вся страна превратилась в огромный политический клуб «Перестройка». Люди стали высказывать свое мнение, стали сметь свое суждение иметь по сложнейшим вопросам общественного бытия и сознания. Не всегда продуманные. Не во всем зрелые. Но — свои, самостоятельные, выстраданные, выношенные. Одни забегают вперед, им подавай все сейчас, немедленно... Другие не хотят перемен, слишком много благ теряют они при этих переменах... Третьи растерялись, встретив столь мощное сопротивление сил бюрократии и консерватизма, и не могут, не хотят услышать музыку новой революции — им кажется, что и нет ее, музыки, что вместо нее — сплошной сумбур...

У сидящих напротив писателя Гранина молодых людей с бородами и гладковыбритых, с толстыми линзами «профессорских» очков, громогласных и тихих, но въедливых, растерянности не ощущается... Я им завидую: мне далеко не все ясно и понятно. Впрочем, наверное, и им — тоже, но сама инфинитивная, императивная форма высказывания (как никак, они сегодня — Дающие Наказ), наверное, придает речам некую категоричность, вполне возможно, обычно им и не свойственную. Я делаю мысленную поправку на это, записывая их пожелания, просьбы, наказы Даниилу Александровичу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Никаких исключений для избрания на третий срок подряд в партии быть не должно: только два выборных срока по пять лет каждый.

— Необходима поправка в формулировке принципа демократического централизма, а именно: сохраняется право свободы дискуссий и после принятия решения большинством при единстве действий по выполнению этого решения.

— Должна быть свобода образования политических партий...

— Не позже лета 1989 года должен быть принят Закон о формировании органов власти... Закон о выборах в Верховный Совет страны должен быть вынесен на всенародное обсуждение...

ВОПРОС ДЕЛЕГАТУ:

— Вы ожидаете от конференции радикальных решений?

ОТВЕТ ГРАНИНА:

— Я ожидал очень многого, но выборы делегатов несколько охладили мой пыл... Я впервые еду на Всесоюзную партконференцию. Не был я и на съездах партии. Я не политик, но думаю, что надо использовать малейшие возможности для решительного продвижения по пути демократизма...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Главного редактора «Правды» выбирать на съезде партии, а редакторов республиканских, областных и городских газет — на соответствующих партконференциях.

— Отказаться от искусственного регулирования социального состава партии...

— Нужна гласность в назначении заведующих отделами обкомов...

ГРАНИН:

— Может, имеет смысл сказать о том, что люди могут свободно, без каких-либо последствий для себя, выходить из партии?..

ВОПРОС ДЕЛЕГАТУ:

— Что вообще эта конференция может решить?.. Внеочередной съезд партии нужен...

ГРАНИН:

— Будем считать, что она все может.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Важнейшие общегосударственные решения должны решаться плебисцитом...

— Надо провести референдум о руководящей роли партии в советском обществе.

ГРАНИН:

— У нас никогда ни по одному вопросу не проводился общенародный референдум, а вы сразу же предлагаете референдум по такой важнейшей проблеме... Это же совершенно нереально и нереалистично... Чем мне нравится Горбачев? Он видит процесс и учитывает скорость общественного движения...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Опубликовать Белую книгу жертв сталинских репрессий...

— В Ленинграде, городе трех революций, нет памятника ни одной из них. Мемориалом этих революций, и прежде всего Октябрьской, может и должен стать Смольный. А обком партии может быть переселен в другое, более удобное для современного учреждения место. А то сейчас далеко не каждый наш гражданин может посетить комнату Владимира Ильича Ленина...

— Перестройка упирается в аппарат... Необходимо заставить его работников отчитываться внизу, а для этого надо поставить их на партучет в низовых первичных организациях...

ГРАНИН:

— Желание у вас правильное, но механизма, устанавливающего зависимость, подконтрольность аппарата от массы партийцев, я в этом предложении не вижу... Но вообще-то вы затронули сейчас один из самых больных наших вопросов: у нас руководитель любого ранга всегда смотрит вверх, от низовых организаций он не зависит. Как создать механизм зависимости аппарата от «низа»? Разве что прямые выборы...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Сессии Верховного Совета должны передаваться по телевидению в прямом эфире...

— В каждом райкоме и горкоме партии должны по вечерам, до 22 часов, работать общественные приемные...

ГРАНИН:

— Кстати, а есть у нас общественные приемные в райисполкомах?..

ГОЛОСА:

— Вроде есть...
— Я был недавно в Дзержинском райисполкоме, там сотрудники сидели до восьми вечера, но никто к ним не шел...

ГРАНИН:

— Я немножко разочарован, я не чувствую за вашими замечаниями, предложениями наболевшего, выстраданного, лично пережитого — все это, простите меня, умственное, головное, все это вопросы второго порядка, а первого — это мясо, сосиски, которых где-то не хватает, а где-то их вообще не видели, жилье, медицина...

ГОЛОСА ОППОНЕНТОВ:

— Такая позиция, как у вас,— очень распространенная. Но неужели непонятно, что пока мы не решим политические вопросы, не будет и сосисок...
— Партия не должна заниматься сосисками...
— Если говорить о сосисках — без частного сектора ничего не сделаешь. Индивидуальной трудовой деятельностью тут делу не поможешь...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

— Необходимо ввести сроком на двадцать пять лет свободную аренду земли и средств производства — исключение сделать лишь для оборонной промышленности...
— Следует форсировать подготовку к принятию ряда законов, регулирующих нашу жизнь, в частности закона о печати, закона о гласности...
— И главное — в этих законах не должно быть пункта, перечеркивающего остальные, как, скажем, пункт о госзаказе в Законе о государственном предприятии (объединении)...

Через четыре дня после встречи Гранина с клубом «Перестройка» я приехал к нему на дачу, испил воды из колодца (Римма Михайловна, жена писателя, утверждает, и не без оснований, что у них в колодце самая вкусная в Комарове вода), понаблюдал с крыльца за маленьким пестрым дятлом, нанизывающим на клюв червячков и кормящих ими птенцов, рассказал хозяевам о вчерашнем вечере в зале «Октябрьский», собравшем четыре тысячи ленинградцев для участия в диалоге с сотрудниками газеты «Известия»...
И в клубе «Перестройка», и на известинском вечере, и на сотнях собраний и митингов в эти бурные дни разговор шел о том, как жить дальше, как преобразовать политическую систему, как добиться на деле осуществления радикальной экономической реформы, как добиться качественно нового состояния советского общества, нового облика социализма. Разговор в сущности шел об одном — о перестройке. И наша беседа с писателем, делегатом XIX Всесоюзной партконференции Даниилом Александровичем Граниным началась с того же — с перестройки.

— Слово «перестройка» у всех сейчас на устах, у всех на слуху. Можно ли говорить о каких-то реальных результатах перестройки? Можно ли считать, что одной из самых сложных проблем, с которыми столкнулось наше общество на пороге XXI века, является положение с молодежью, что, как отмечали молодые историки за «круглым столом» «Комсомольской правды», «никогда не было таких трудностей в передаче накопленных социальных ценностей от одного поколения к другому». Современные историки объясняют эти сверхсложности тем, что поколения молодежи «сначала были осно-

вательно деформированы в эпоху застоя, а затем на них обрушился поток разноречивой, острокритической информации, которую они не способны переварить и осмыслить...» Это не мешает им, однако, судить старших куда как строго и грозно вопрошать: «Куда вы смотрите? Как вы допустили?..» Старшие на это реагируют по-разному: одни старорежимно цыкают на молодых, одергивают их на каждом шагу, другие сердобольно жалеют молодежь, оказавшуюся в результате застоя, по их мнению, самой обделенной частью общества...

— Ну, самая обделенная, не самая обделенная — нет инструмента, на котором можно это измерить или взвесить, — говорит Гранин. — **Тут уж кто как себя считает... Что же касается перестройки, то, говорят, большей частью ее результаты связаны с гласностью, демократией, а вот в экономике никаких сдвигов к лучшему нет. Возможно, в смысле сосисок перестройка пока не добилась сколь-нибудь заметных достижений. Но есть другой, очень важный результат — какое-то прояснение или появление, да, появление смысла жизни. Мы, наше поколение, были лишены этого смысла. Мы давно перестали понимать, что такое коммунизм и что такое социализм, находясь в недрах сталинского социализма, который не был социализмом.**

Мы все — дети сталинского социализма, социализма чрезвычайных мер и принудительного, насильственного оптимизма. Что такое ленинский социализм, мы, может быть, и знаем, но у нас его никогда не было, мы только могли о нем мечтать, догадываться, а жили и воспитывались мы в сталинском социализме, который отнимал самое важное — цель и смысл жизни. То, что мы строили, постепенно теряло какую-либо разумность и никакого отношения к предмету наших мечтаний не имело. Поэтому у нас пропало ощущение, что именно за это и во имя этого стоит жить, бороться, страдать. Нами все больше овладевали разочарование, цинизм, апатия. Пышным цветом расцвели они при Брежневе, когда жизнь сводилась к накопительству, приобретательству, эгоизму. Омещанивание жизни поразило все слои общества, но особенно болезненно все это воспринималось молодыми. Цинизм еще не так страшен, когда он удел старших поколений, но когда с цинического отношения ко всем ценностям и идеалам начинаешь свою жизнь, то это уже почти неизлечимо...

Перестройка же — хочу повторить и развить свою мысль — просветила дали, обнадежила, дала право надеяться, что жизнь снова обретает какой-то смысл, что есть за что бороться, с кем бороться, во имя чего бороться. У всех нас, у народа, появилась возможность строить ленинский социализм, новое общество, структуру и контуры которого мы еще не знаем, только ищем... Это не тот коммунизм, в котором, как нас учили, можно будет много есть, бесплатно пользоваться общественным транспортом и прочее — коммунизм бесплатных благ. Сейчас происходит восстановление справедливости в нашей жизни, что само по себе прекрасно, и, может быть, во имя этого стоит и пострадать, и покричать, и поспорить, и главное — стоит что-то делать. Жизнь вообще не имеет особого смысла, поскольку всегда кончается тупиком смерти, но когда появляется возможность чем-то пожертвовать во имя большой цели, сделать что-то для других, проявить как-то себя, тогда жизнь вроде бы обретает смысл, у нее появляется цель, идея. Это ужасно: прожить жизнь без идеи. А сейчас идея жизни начинает брезжить, что ли. Я думаю, что для молодежи это самое прекрасное, ведь то, что мы

имели до сих пор, приводило к абсолютной безыдейщине жизни.

Иногда нашему поколению огорчительно, что молодежь судит старших скоро и неправильно, не стремясь разобраться в том, кто и что из нас сделал. Я это на своей шкуре испытал, когда мне говорили: «А что вы делали при Брежневе? А что вы делали при Сталине? Почему вы молчали? Почему вы позволили все это?» Уж к себе-то, казалось бы, я эти упреки-обвинения никак не могу отнести, потому что знаю, как мне доставалось. Ну, при Сталине-то я еще не печатался, я начал сразу после Сталина печататься, — нет-нет, и при Сталине немножко захватил кусок, и помню, как мне доставалось и при Хрущеве, и при Брежневе за рассказ «Собственное мнение», и за повесть «Наш комбат», и за другие вещи. Лишали возможности печататься, на несколько лет я был выброшен за пределы публикации и все прочее... Но я не обижаюсь на такую судьбу. Я понимаю, что молодые не хотят, не желают, не могут и даже не должны разбираться в том, что сделал этот человек, а тот мог сделать, а другой пытался сделать, но не сделал, — они чохом судят все наше поколение, и правильно судят. Некоторые из нас, конечно, чувствуют эту несправедливость в личностном плане, но по отношению к поколению (как мы могли допустить того же Брежнева, весь этот неправедный поворот, как допустили непоследовательность Хрущева в разоблачении Сталина, культа личности?..) этот суд справедлив...

Все-таки старинное правило — каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, — неопровержимо. Да, мы виноваты в годах застоя и предыдущих годах так же, как наши родители были виноваты в том, что допустили возможность сталинизма. Этот суд нужно пережить, потом когда-нибудь история разберется во всем окончательно, но этот суд должен происходить. Такой суд необходим. Не для нас, а для того, чтобы молодежь могла оттолкнуться от этого, чтобы могла понять и себя, и своих предшественников, и свою страну. Суд этот необходим еще и потому, что все люди должны знать: и они в свой час будут судимы. Мы все должны знать, что будем судимы, и молодежь нынешняя тоже будет судима. Мы все должны знать, что мы подсудны. И судить всех нас будут по-крупному: чего мы стоим, чего мы добились — сделали какое-то благое дело, были последовательны, принципиальны и бескомпромиссны или опять смирились, отступили и снова оказались недостойными высокой цели.

— Суд истории — это где-то там, далеко и высоко, за горами времени, это суд грядущий. А нас судят, и мы судим и себя, и тех, кто старше и моложе нас, сегодня, судим, не зная всех обстоятельств дела, а иногда не зная вообще никаких обстоятельств, испытывая сильнейшее давление все нового и нового открывающегося нам знания о самих себе, о своей стране, о своей истории... Тут, как говорят молодые, может и «крыша поехать», такая мешанина в голове происходит. И за себя начинаешь опасаться, но больше всего за своих детей, за юное, неокрепшее, несформировавшееся сознание. Вот и ваш старый товарищ Виктор Сергеевич Розов, выступая по Центральному телевидению, сказал, что у него, много чего повидавшего на своем веку, прожившего долгую жизнь, сейчас известная сумятица в мозгу, но это, мол, хорошая сумятица. А я слушал его и думал, что сумятицу в юных головах, вызванную лавиной сегодняшней разоблачительно-покаянной информации, хорошей никак не назовешь. За молодых в этом плане очень тревожно...

— Я горячо люблю Виктора Сергеевича, считаю его не только превосходным драматургом, но и Воспитателем и Учителем с большой буквы. Но я не согласен с тем, какие выводы сделали вы из его признания... Дело в том, что нельзя ориентироваться на нас. Наш беспорядок в мозгах возникает потому, что у нас там накопилось много перегородок, стереотипов, страхов, предрассудков и т. д. Молодежь в этом отношении гораздо свободнее, у нее чище мозги. Там, где мы выходим, она садится в поезд. И в этом ее преимущество. Не беспокойтесь вы в этом отношении за молодых: огромное количество информации, которое сейчас вываливается на всех нас, гораздо лучше усваивается именно в молодом возрасте. Нам надо пересматривать те вещи, о которых мы узнаем, когда читаем сегодня, скажем, про Кунаева, нам надо перебарывать прежнее мнение; берем пример другого рода, когда читаем про Бухарина, — тоже пересматриваем. Это тяжело делать, ведь мы должны отказываться от многолетних знаний, въевшихся в нас привычек... Молодежь в этом смысле более свободна и лучше нас адаптируется к новым знаниям. Так что тут, я думаю, ее преимущество по сравнению с нами. Ей гораздо легче идти вперед. Мы все время останавливаемся — перетряхиваем свой чемодан, выбрасываем старые шмотки. А многие ведь и не хотят со старым скарбом расставаться, просто не в состоянии отказаться от старых представлений. Человека, который прожил всю жизнь, прошел войну и все прочее, и не может сейчас свою жизнь пересмотреть, тоже надо понять...

Вот я знаю человека, военного, который прожил всю жизнь, боготворя Сталина. Он честный человек, он честно воевал, никакой не бюрократ, не хапуга. Он, как тот наполеоновский солдат, что оставался верен Наполеону, хотя тот уже сидел на острове Святой Елены, оставался верен даже тогда, когда тот умер; так и наш военный, называйте его сталинистом, догматиком, верен Сталину. Это его убеждение, с этим были связаны лучшие годы его жизни, война, которую он и выиграл, это же его заслуга, гордость... А ему теперь говорят: «Сталин — тиран, убийца...» А он: «Не хочу об этом слышать, не желаю...» Его надо понять. Вместе со Сталиным выбрасывать его на свалку истории нельзя, его жизнь перечеркивать нельзя, относиться к нему безжалостно тоже нельзя. Пожалуй, жалость здесь не точное слово. Это его убеждение, его взгляд на историю, его вера. Так уж сложилось, так получилось. Я отношусь к этим людям непримиримо, но с большим уважением. В чем-то они мне кажутся даже более достойными, чем те, кто быстро-быстро отказался сейчас от своих прошлых взглядов. Может, потому что я сам долго болел этим и переболел, и тоже не сразу все это во мне зажило, перегорело и пересмотрелось, но для меня люди, подобные моему знакомому военному, достойны глубокого уважения и в то же время сочувствия. Я им сочувствую... Это трагическая история...

— Позавчера я прочитал в «Знамени» первую часть воспоминаний Алексея Аджубея «Те десять лет». Разбирая вопрос о вине тех, кто горой стоял за дело XX съезда, но допустил, что его взрывная сила пошла на убыль и общество стало топтаться на месте, а потом пошло назад, Аджубей пишет: «Моим сыновьям я говорю: да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как иезуитски сплоченная прослойка бюрократии». Но ведь стоит только снять с себя «интеллигентские самоограничения», моральные табу, как уподобишься силам «пошлости и злобы», не так ли?.. Сам Толстой за-

вещал нам думать над простой в сущности мыслью, что потруднее многих сложных мыслей: как же силам добра, а говоря современным политическим слогом — демократическому крылу нашей культуры, объединиться против сил зла, против чуждых демократическим устремлениям людей, авторитарных, догматических, привыкших повелевать и подчиняться, угождать и властвовать... Почему они так легко сбиваются в стаю, почему они так здорово приспособлены к борьбе, а демократы, творцы, таланты с таким трудом объединяются даже вокруг глубоко волнующей их идеи, даже в борьбе за правое дело?..

— Вы затронули старую и, боюсь, неразрешимую проблему. Создать сейчас такую агрессивную, воинственную организацию, как «Память», из людей добра, талантливых, защищающих гласность и свободу, практически, по-моему, невозможно, почти невозможно. Таких людей можно еще собрать вокруг какого-то конкретного благородного дела, скажем, хлопот по созданию Мемориала жертвам сталинских репрессий...

Конечно, можно сказать, и это будет совершенно справедливо, что в наше время людей объединяет идея перестройки. Но сказать так было бы слишком обще... Мы с вами имеем сейчас в виду не объединение народа, разных слоев общества на базе одной идеи, общего дела, а толкуем о сообществах людей, которые объединяются во имя каких-то благих и справедливых действий. Мы говорим сейчас не об экономических и идеологических, а о морально-нравственных категориях. И, к сожалению, такое объединение в морально-нравственном плане не получается. Жизнь показывает, что разобщены прежде всего талантливые люди, которые составляют золотой фонд нашего общества. Каждый большей частью сам по себе, хотя иногда и как-то объединяются и поддерживают друг друга. Так было всегда. Не случайно Лев Николаевич писал об этом. Так было всегда и, наверное, так всегда будет в силу того, что талант индивидуален, он держится непохожестью.

Что такое Союз писателей, Союз композиторов и Союз художников? Это организации, в общем-то, противопоказанные талантливым людям. Они объединяют художников и вырабатывают общие мнения, общие взгляды, а каждый художник дорог прежде всего своей непохожестью, своей отдельностью. Попадая в мельницу любого творческого союза, художник очень многое теряет именно как неповторимая личность, его личностные качества стираются, он начинает понимать, что надо, чего не надо, что полезно, что не полезно, что пойдет, что не пойдет... Это действует даже на большого художника, даже ему очень трудно в таких условиях сохранить индивидуальность. Поэтому талант инстинктивно стремится к одиночеству, к тому, чтобы обособиться, не вступать ни в какие группы, союзы и блоки, сохранить себя. Это здоровое желание и, думаю, одна из причин, по которой людям доброй воли трудно действовать совместно. В то же время для посредственностей, бездарей объединение в группы и блоки есть непременное условие их выживания, возможность самозащиты и продвижения. И насколько у них ярко выражена необходимость соединиться, настолько же людям талантливым, мыслящим, свободолюбивым делать это куда менее естественно, куда более трудно. То же самое происходит и в научной среде. Талантливый ученый, как и художник, тоже должен сохранять свою личность, свое ви́дение мира. Что такое гений? Это возможность увидеть явление иначе, чем видят обыкновенные люди. Талантливые ученые тоже стремятся обособить-

ся. Ценность большого современного научного коллектива состоит в том, есть ли у него талантливый, непохожий на других лидер, со своей научной школой, со своей научной концепцией.

Конечно, надо бы соединиться и ученым, и людям искусства, но непонятно как это сделать. Тут другое важно. Выход из этой вроде бы неразрешимой ситуации если и есть, то состоит он в том, что необходимо создавать общественное мнение, пробуждать общественное сознание, общественный стыд. И делать это надо через какие-то общественные организации, скажем, через клубы. Ведь мы же толком не знаем, что такое клуб. Мы пользуемся формой клубов, которые были созданы в 20—30-е годы, когда клуб был лишь местом для отдыха, развлечений. Между тем клуб в изначальном смысле этого понятия — собрание людей близких по духу, по нравственным принципам. До революции в русском обществе существовали такие клубы. Офицерское собрание, Дворянское собрание, купеческие гильдии, в деревне была община или сельский сход, которые вырабатывали нравственные правила, критерии, кодексы. Что такое «Анна Каренина»? Это рассказ об общественном сознании того времени, пусть с его предрассудками, когда очень строгий критерий кодекса нравственности не позволял принимать в обществе женщину, которая ушла с любовником от мужа и ребенка. И суд общества настигает ее. На Западе существует система клубов, при которой в члены клуба принимают только людей, отвечающих соответствующим нравственным критериям, нужны поручительства для вступления в клуб. Человека неприятного людям этого круга, не их правил жизни не примут в их клуб.

Разные есть клубы, но каждый клуб блюдет свои понятия о чести и достоинстве и следит, чтобы члены клуба их не нарушали. В таких клубах и могут объединяться люди единой нравственной платформы. Это очень важная система общественного стыда и общественного сознания. Таких клубов у нас нет, почти нет. Нам надо их создавать. Без них у нас не будет нравственной среды, которая судит человека за подлый поступок. Мы его осуждаем, мы ему не подаем руки, мы ему отказываем бывать в нашем обществе, в нашем доме. У нас же хаос, полная неразбериха в нравственном отношении. Мы принимаем у себя в доме какого-нибудь спекулянта, потому что он нам выгоден, потому что этот нечистый на руку тип достает нам вещи. Мы его сажаем с собой за стол. Мы играем в шахматы в одном клубе, какие-нибудь старики-пенсионеры — и те, кто сажал в недоброй памяти годы, и те, кого сажали... Какой-нибудь доносчик ходит среди нас с гордо поднятой головой, с полным сознанием того, что он когда-то честно выполнял свой долг... И так далее, и тому подобное...

— Клубы, очевидно, нужны. Но в формировании общественного мнения, в пробуждении общественного стыда и сознания исключительно велика роль нравственного примера отдельной личности, примера человека, который мыслит иначе, чем все, идет поперек течения... В этом плане весьма симптоматично, что некоторые люди, в прежние годы чуравшиеся всякой политики как чего-то постыдного, двуличного, неправедного, бежавшие ее, замыкавшиеся в «башнях» своего дела, пересматривают ныне свое отношение к политике, а один из них, мой близкий товарищ и коллега, сказал, что сейчас просто безнравственно стоять в стороне от глубочайших политических перемен, которые происходят в нашем обществе. И вот тут я хочу спросить вас, автора «Зубра», одного из тех произведений литературы, которые отразили новую ступень обществен-

ного самосознания, — читали ли вы размышления доктора экономических наук Гавриила Попова по поводу вашей повести, опубликованные в третьем номере за 1988 год журнала «Наука и жизнь»? Читали?.. В таком случае как вы относитесь к следующему замечанию экономиста в адрес вашего героя: «Зубр оставил нам не только урок более правильного понимания прошлой эпохи. Он оставил нам урок на будущее — урок недопустимости ухода от политики, недопустимости пассивного ожидания чего-то... Вернутся ли Зубры? — ставит вопрос писатель. При всем уважении к ним я бы ответил — не должны. Мы хотим на деле реализовать лозунг партии: «Больше социализма». И теперь хорошо знаем, что попытки творить на своем участке при отказе от участия в политике, в судьбах страны, в судьбах твоего народа неизбежно ведут к потере именно той возможности нормально жить и работать, ради которой тебе предлагалось смириться с ролью политического винтика. Не говоря уже о главном: принять эту роль — значит оставить страну в руках агонизирующей Административной Системы, лишить человеческой жизни в истинном, высоком смысле слова наших детей и внуков, вступающих в двадцать первый век».

И в этой же связи позвольте напомнить, что когда мы с Юрием Власовым были у вас дома в гостях в декабре восемьдесят шестого года, то вы, говоря о необходимости не только удерживать, но и расширять плацдарм перестройки, были очень рады тому обстоятельству, что в Москву из Горького вернулся академик Андрей Дмитриевич Сахаров, видели в этом симптом очень значительных перемен в нашей жизни, в политике руководства партии и страны. Но ведь, сколько я понимаю, ваш любимый Зубр, Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, и Сахаров по своей общественной активности, по отношению к участию в политике — совершенно разные, просто противоположные фигуры... Так чья же все-таки позиция вам ближе, чей подход кажется более продуктивным для науки, для общества?..

— Интересный вопрос. Очень интересный вопрос... Отвечу на него следующим образом. То, что Сахаров вынужден был заняться политикой — часть нашей общей трагедии и личная огромная трагедия самого Сахарова... Потому что Сахаров — гениальный физик, во всяком случае один из великих физиков нашего времени, предназначенный судьбой, природой для того, чтобы создавать науку, заниматься теоретической физикой, а то, что он в силу ощущения своей вины за водородную бомбу, в силу своей честности, порядочности вынужден был окунуться в политику и заняться ею, большая потеря для науки, да это и редчайший случай вообще для науки, для ученого. В этом, конечно, величие сахаровского подвига, но такой уход в политику в принципе не свойствен ученому... И Сахарова, и моего Зубра настигает политика, давит и мучает, но они слишком поглощены наукой, чтобы еще всерьез заниматься политикой, и совмещать эти вещи они не могут, а если начинают совмещать, то перестают быть настоящими учеными... Мой Николай Владимирович всю жизнь бежал от политики, а она его всюду настигала, его несчастьем, проклятием было то, что он попал под колесо фашизма, а потом под колесо сталинизма... Это ненормальная жизнь для ученого, ученому надо дать возможность спокойно, радостно и счастливо осуществлять свою природную любознательность... Конечно же, я понимаю сегодняшний пафос Гавриила Попова. Да, ученые составляют большой, влиятельный отряд нашей интеллигенции, они не имеют права, не должны откатываться от политики, не зани-

маться проблемами перестройки и так дальше... Попову очень хочется этого, в нынешний момент для нашего общества это очень полезно. Но требовать этого от ученых и считать, что это единственно правильный путь для крупного ученого, да просто для талантливого и способного ученого, вряд ли можно. Не в природе человека науки заниматься политикой, как не в моей природе то, что я сегодня занимаюсь какими-то интервью, статьями — не должен я этим заниматься, не писательское это дело... И то, что сегодня этим занимаются и Адамович, и Быков, и Лихачев, и Бакланов — это и хорошо, потому что влиятельное слово того же Дмитрия Сергеевича Лихачева — помощь культуре большая, но это и его личная беда, и беда названных и неназванных мной писателей и ученых, потому что они не напишут в это время роман, повесть, пьесу, научное исследование...

Время сейчас, конечно, уникальное, время, требующее от нас способности пожертвовать своими личными интересами, пристрастиями, но ведь в этих жертвах и несчастье науки и литературы...

— В этом, может, и несчастье литературы, вернее, некоторых писателей, оторвавшихся на время от своих романов и повестей, чтобы редактировать журналы, организовывать всевозможные фонды и общества, заниматься публицистикой. Но ведь и счастье какое — вмешиваться в жизнь напрямую, а главное счастье — возможность говорить и писать всю правду, без утайки, без эзоповых ухищрений. Горькая правда, утверждают, целительна, но всегда ли?.. Ведь от сильного болевого шока человек умирает. Я к чему веду? Не может ли так получиться, что жесткое облучение правдой, шок правды подействует на людей, не привыкших дышать разреженным воздухом свободы, не умеющих жить в условиях демократизации и гласности, не защищенных от этого «облучения» культурным слоем — запасами духовности и нравственности, подействует на них не целительно, а губительно, во всяком случае — очень и очень болезненно?.. Фрейд в опубликованном недавно у нас киносценарии Сартра говорит: «Истинной правды о себе не в силах вынести никто». Вы согласны с Фрейдом — Сартром?.. Или отдельный человек — не в силах, а разумно, демократично устроенное общество — в состоянии?..

— Ну и что вы предлагаете?.. Я думаю, что правду нельзя дозировать, вводить постепенно, какими-то порциями. Правда должна быть вся, нельзя довольствоваться полуправдой. Горбачев правильно об этом говорит. Мы получили довольно горький урок полуправды во времена Хрущева, когда мы начали ее говорить и вдруг оборвали на полуслове... Привело ли это к чему-нибудь хорошему? Думаю, нет. Начавшийся процесс оздоровления общества был прерван, что породило разочарование, недоверие, мы хлебаем его до сих пор. Поэтому я думаю, что процесс гласности, обнародования правды, каким бы он ни был болезненным, какими бы кризисными явлениями ни сопровождался, есть процесс выздоровления общества, необходимейший процесс. Да, я понимаю, что многими людьми это, может быть, переживается довольно болезненно, сложно — ведь им приходится убеждаться, что годы жизни, а то и целая жизнь, были связаны с неоправдавшимися иллюзиями, с оказавшейся фальшивой верой. Много нам врали, много нас обманывали... И вот ложные кумиры валяются разбитыми... Это горько, но у нас нет другой возможности освободиться, начать какую-то разумную, основанную на знаниях жизнь.

Вы вспомнили Сартра, а у меня в свое время был разговор с Сартром... Сартр мне говорил (он приезжал в Ленинград, был у меня дома): «Ваше общество живет верой, а не знаниями». «Ну и что же, — ответил я. — Почему вы думаете, что знаниями лучше жить...» «О, — сказал Сартр, — вы когда-нибудь узнаете — почему...» И вот мы узнали... Мы жили верой, основанной к тому же на нашем невежестве, на безгласии, секретах, на оторванности от мировой культуры, мировой истории, мировой философии, мы были погружены в самомнение, позволяющее нам считать все, не совпадающее с нашими взглядами, глупостью. Основанное на невежестве самомнение привело к тому, что мы отстали во многих областях интеллектуальной жизни, отстали в той же философии, в истории. На Западе историю советского общества знают гораздо лучше, чем мы... Историю России знают лучше, чем мы... Что же это такое? Вот мы сейчас умиляемся тому, что у нас такая огромная подписка на Соловьева, Ключевского, такой интерес к Карамзину, но ведь, с другой-то, не столь лучезарной стороны, это говорит о том, что за последние сто с лишним лет мы не могли создать ни одного курса истории России, своей русской истории. Ведь русская история — это же наука, она должна все время двигаться... И то же самое можно говорить и о других областях знания...

Что это такое, когда мы сегодня впервые начинаем открывать Фрэйда?.. Когда у нас нет истории западного мира, нет истории Европы? Поэтому очень многое нам приходится сейчас начинать сначала, сызнова, многое воссоздавать, ко многому возвращаться... Конечно, это прекрасно, что мы можем сейчас прочитать «Историю государства Российского» Карамзина, потом, может быть, сможем прочитать Покровского, Платонова, Костомарова... Но чем же может похвастаться советская историческая наука?.. Да, замечание Сартра не лишено основания. Мы только-только начинаем приходить от веры к знаниям, начинаем получать материал, позволяющий знать о том, что же было с нашей страной, как развивалось наше общество, что происходило у нас в партии. Эти знания дадут нам возможность самим как-то оценивать события истории, а не довольствоваться чужими истинами...

Я получаю много писем от читателей. На что сетует наш читатель? На то, что в одном журнале пишут одно про «Зубра», в другом — другое, в третьем — третье!.. А каков же итог, каково же окончательное мнение на сей счет?.. Это результат многолетнего воспитания читателей, когда им в пользование выдавалась окончательная отметка тому или иному произведению, и отметку ставила официальная критика, то ли в газете «Правда», то ли еще в какой-нибудь центральной газете... Читатель в массе своей отвык сам разбираться даже в художественных произведениях. Он ищет какую-то результативную оценку, чтобы ему сказали, хорошее это произведение или плохое, какие в нем достоинства и недостатки. Тогда он будет спокоен. А когда ему один говорит одно, а другой — другое, то такой читатель раздражается, возмущается — он сам-то не умеет, не привык оценивать явления. Другая категория читателей давно уже перестала читать критику, не верит ей: это сейчас критика может давать разные мнения, а раньше она и своего-то мнения не давала, она давала мнение инстанций...

И по сию пору многие наши критики-профессионалы не имеют своего лица и своего имени. Дар критика является более редким, чем дар писателя. Если спросить обычного читателя, он вряд ли сможет назвать нескольких критиков, которыми он восхищается,

вкусу которых абсолютно доверяет, за которыми идет, которые являются властителями его дум, как положено подлинным критикам. Ведь критик в этом смысле соревнуется с писателем. Белинский, Добролюбов, даже Аполлон Григорьев — они владели думами читателей и общества, они были оригинальными мыслителями и значительным явлением в общественной мысли. Наша критика — это ей не в упрек, условия существования были очень тяжелые — дает очень мало таких властителей дум...

— Долголетняя отвычка от собственного мнения, конечно же, сказывается на всех нас — и на читателях, и на литераторах. Сейчас тут многое меняется прямо на глазах: собственное мнение (провидчески вы назвали когда-то свой рассказ, принесший вам столько неприятностей) восстанавливается в цене, происходит становление реального плюрализма мнений. Становлению плюрализма мнений у нас, однако, многое мешает. И больше всего, на мой взгляд, два обстоятельства — дефицит культуры, гуманитарной культуры, и отсутствие толерантности. Этот термин у нас в общественно-политическом лексиконе практически отсутствует. Между тем без толерантности, т. е. терпимости к чужим мнениям и верованиям, нет и не может быть столь популярного сейчас плюрализма (корни у обоих слоев латинские и означают «терпимый» и «множественный», кстати, в Словаре иностранных слов издания 1949 года «плюрализм» объясняется как ложное, идеалистическое мировоззрение, отрицающее в противоположность монизму единство мира...)

— Плюрализм мнений? Ну, конечно, поскольку мы так долго были лишены разницы во мнениях, то схватились теперь за него — это благо, и мы держимся за него, и надо держаться, это бесспорно. Но со временем надо бы спокойно, без ажиотации разобраться, что же такое плюрализм. Тут тоже есть, должна быть какая-то система ограничений, не может быть безграничного, безбрежного плюрализма — нельзя, например, призывать к террору, геноциду, массовому убийству людей, верно? Значит, существуют какие-то границы плюрализма мнений. Это я самый грубый пример привел, а есть и другие...

Я не могу вам сразу сказать, где и какие границы должны проходить, но думаю, что не всякая разница во мнениях имеет право быть. Именно быть. Я считаю, что экспансионистские мнения, где проповедуются имперские, захватнические взгляды, где разжигается национальная нетерпимость, не должны печататься, пропагандироваться с помощью средств массовой информации. В общем, какие-то ограничения надо накладывать. Но подходить к этому следует деликатно и осторожно. Кто будет определять эти границы? Наверное, определять это имеет право общество. Приведу такой пример. У нас было организационное собрание «Милосердия», в его уставе было записано, что «Милосердие» подчиняется принципу демократического централизма. А группа ребят встала и сказала: «Мы не хотим подчиняться этому принципу, мы считаем его неверным, потому что часто меньшинство бывает право и нельзя запрещать ему высказывать свое мнение, даже тогда, когда голосование прошло и мы оказались в меньшинстве, мы обязаны подчиниться, но продолжать дискуссию, продолжать спор мы должны иметь право». И поскольку мы проголосовали все-таки за то, чтобы принцип демократического централизма соблюдался в его классическом виде, как он соблюдается в партии, то они покинули наше заседание. И я подумал, что в чем-то они, конечно, правы. Почему? Потому, что сколько угодно бывает таких случаев, например, в науке, где

большей частью право именно меньшинство. В литературе, в деятельности Союза писателей тоже большей частью меньшинство право: талантливых людей в любом коллективе меньшинство, да и видит новое и понимает его перспективы меньшинство, ибо большинство всегда придерживается традиционных взглядов.

Вот вы возмущаетесь нашей нетерпимостью... И я возмущаюсь... Был я недавно в Америке, в Соединенных Штатах. Я третий раз был в Америке, и сейчас понял особенно ясно, почему американское общество, созданное из людей разных национальностей, представляет собой крепкую систему, которая так эффективно действует в науке, промышленности, в политике. Потому что это общество подчиняется очень твердо усвоенному принципу: другой человек может быть другим человеком. Мы же считаем, что другой человек не имеет права быть другим человеком, а должен быть таким, как мы, что другие живут неправильно, а правильно живем мы. Считаем, что другие народности, которые носят не то, что мы, не едят хлеба, у которых в трауре надевают белые одежды, неправы. И приобщаем к своей культуре народы Севера, заставляем их жить так, как мы живем, не считаясь с их национальными особенностями и традициями, думаем, что оказываем им великое благо, когда строим им дома и заставляем их жить в домах, хотя они привыкли жить в своих чумах. Это все нетерпимость, нетерпимость... Нам внушали, что советское всегда и во всем правильное, самое передовое, самое лучшее. Но мы давно убедились, что советское не самое лучшее, но все равно продолжаем это утверждать. Мы ведем как бы два счета: для себя мы идем и покупаем обувь заграничную, а когда мы едем «туда» и встречаемся с иностранцами, то чванливо, спесиво говорим, что у нас все самое лучшее. Даже покупая заграничные товары, повторяем, что наши лучше.

— Дефицит терпимости прямо связан с дефицитом милосердия. Отказывая в праве другому человеку быть другим человеком, отказываешь ему, в конечном счете, и в сострадании, сочувствии, милосердии. Всю «людскую ласку» припасаешь только для своих, похожих на тебя... О милосердии в последнее время много сказано, и, что особенно радует, уже сделан ряд практических шагов. Свои вопросы о милосердии, обращенные к вам, я позволил себе заимствовать из «Учительской газеты», которая на своих страницах печатает «Родительскую газету». Последняя задала своим читателям несколько вопросов о милосердии, я же, в свою очередь, их переадресовываю вам, Даниил Александрович. Первый: не возмущает ли вас милосердие к виновным, дурным людям, преступникам? Второй: ценно ли чувство милосердия без поступка?

— Человек, преступивший закон и признанный судом виновным, должен понести наказание. Преступник должен сидеть в тюрьме. Наша система колоний — косная система... Понятие милосердия к преступникам должно применяться совершенно особо: если общество наказывает преступника, и тут же вы начинаете разговор о милосердии по отношению к нему, то какова же цена суда, неотвратимости наказания, правового сознания... Я считаю, что нам надо воспитывать правовое сознание, что наказание должно быть неотвратимым и зависеть только от меры содеянного, но никак не от должностей, привилегий, заслуг человека и всего прочего. Совершено преступление — следует наказание. Правовое сознание у нас очень плохо развито. Мы все время говорим: а он участник войны, а он ветеран труда, а он в нашем учреждении выпускал стенгазету, да, он убил двух человек, но он выпускал хорошую стенгазету, и

поэтому наше учреждение считает возможным выступить в защиту этого человека. Это сдвинутое правосознание.

Но понятие «милосердие» применимо и в системе наказания. Под милосердием я понимаю такую систему наказания, при которой преступник мог бы наиболее быстро и глубоко проходить процесс осознания своей вины. Дело не только в изоляции преступника от общества, но и в процессе осознания им своей вины, который в наших современных исправительно-трудовых учреждениях затруднен. Почему он должен осознать свою вину, если его гонят на земляные работы, на лесоповал, заставляют шить рукавицы?.. Тюрьма — другое дело, там одиночество, там человек более или менее предоставлен необходимости понять и обдумать свою жизнь, свое поведение, свое преступление. Там больше нравственных требований, чтобы человек мог осознать свою вину. Вот это и есть милосердие: дать возможность человеку вернуться к другим людям, в общество, осознав свой поступок, а не просто отбыть срок. Я думаю, что это важная часть исправительного процесса, или процесса наказания, как угодно считайте. Конечно, то, что человек теряет несколько лет жизни, это тоже достаточное наказание, но вопрос в том, каким он оттуда вернется. Я думаю, все это тоже нуждается в массовом, народном обсуждении.

Проблема милосердия состоит, вообще-то говоря, в практике. Человек должен иметь практику сострадания и сочувствия. Сострадание и сочувствие — не абстрактный гуманизм, не просто наименования, а повседневное применение, которое требует жертв и лишений от человека, если он хочет быть милосердным, благотворителем или филантропом. У нас, кстати, часто неправильно употребляют слово «филантропия». Это не просто пожертвование денег. «Филантропия» переводится с греческого как «человеколюбие». Человеколюбие, милосердие должно быть деятельным, то есть вы должны сами иметь возможность что-то сделать... Откупаться деньгами, конечно, легче всего.

— Значит, по-вашему, ценен только поступок, воплощающий чувство милосердия, а само по себе чувство не имеет цены, не может быть целительным?..

— А что такое чувство само по себе?..

— Ну, скажем, у вас тяжко на душе. Я вас выслушал, вам стало легче. Я вам посочувствовал и все...

— Так это уже поступок. Вы пожертвовали своим временем, вы пришли ко мне или я к вам, вы потеряли два-три часа времени для того, чтобы выслушать меня и поговорить со мной. Вот, пожалуйста, у нас в обществе «Милосердие» есть молодежные группы, ребята приходят к старым одиноким людям и выслушивают их. Те нуждаются в общении. Выслушать иногда даже труднее, чем убрать комнату, постирать белье, сходить за продуктами, просидеть всю ночь у больного. Многие люди чувствуют себя заброшенными, ненужными никому. Их надо уметь выслушивать, с ними надо общаться. А если просто считать: я милосердный человек, я готов сострадать, но не подкреплять чувство поступком, то это ничего не дает. Ведь для милосердия нужны хотя бы двое. Так же как для любви. И милосердие — акт взаимный. Это не только оказание помощи, это еще и собственное перерождение, собственное возвышение, очищение... Вот почему наша церковь, по-моему, совершенно справедливо настаивает на том, чтобы ей вернули право заниматься благотворительностью и милосердием. Иначе религиозное чувство

во многом остается непотребленным, бездейственным, иначе оно ни на чем не может быть проверено.

— Вы возглавили первое в стране общество милосердия (официально оно называется сейчас — Общество милосердия «Ленинград»), стали активнейшим ходатаем по делам Ленинграда, теряющего свое значение как крупнейший культурный, научный центр, вы часто выступаете с публицистическими статьями, даете интервью — ваш голос в эпоху перестройки звучит сильно, внятно, отчетливо, к вашим словам прислушиваются и власть предержащие, и «просто граждане», ваш авторитет как общественного деятеля растет, о чем свидетельствует и избрание вас делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции... Но ведь потому все и прислушиваются, что вы завоевали, заслужили право говорить граду и миру тихой уединенной работой за письменным столом... И раз уж мы заговорили о письменном столе, о творчестве, о тайном и сокровенном для каждого настоящего писателя, хочу спросить: как вы сами определяете свою генеральную идею, объединившую ваши книги, неотступно преследующую вас мысль, что и упоевает писателя, и мучает его, заставляя биться над «последними», «проклятыми» вопросами бытия человеческого?..

— Вопрос о тайном и сокровенном для каждого писателя, наверное, правильный и вполне уместный, но отвечать на него я не хочу...

— Ну, если не хотите о тайнах творчества, то, может быть, скажете, как все же общественная деятельность сказывается на собственно писательском деле?..

— Отнимает, конечно, время, мешает... Иногда думаешь, что не надо бы тебе на это отвлекаться, но нет, надо — в такое время, как наше, какая-нибудь статья, выступление иногда значат больше, чем книга, повесть или рассказ. И все время думаешь, что все это временно: ну что там газетная статья, это же все временное, а ты должен создавать вещи прочные, долговременные, тем не менее, однако, такие события происходят, такая личная втянутость в эти события, такая завербованность, что все время хочется вмешаться, все время кажется, что ты можешь помочь, что-то подтолкнуть, исправить... Ну и еще действует эйфория гласности — ведь наконец можно сказать то, что накопилось в тебе, о чем ты все годы вынужден был молчать. Сейчас же можешь говорить, так почему бы тебе не сказать, давай, пользуйся предоставившейся возможностью... И все время думаешь, а вдруг закроются ворота... Такая лукавая игра идет с самим собой... Но иной раз бывает немалый резонанс, заставляющий думать, что не зря ты время тратил, не на ветер слова бросал... Вот написал я в «Литературку» статью, напомнил о том, что люди должны быть милосердными, рассказал несколько случаев из жизни, и это сыграло свою роль, вызвало много последующих действий, подтолкнуло некоторых людей к созданию групп милосердия, привело к созданию у нас в Ленинграде общества «Милосердие». В ряде городов страны создаются группы милосердия, недавно приезжали к нам из Донецка. Так что удовлетворение, конечно, есть, все это не впустую, не просто риторика и моралистика. Люди очнулись и хотят решать какие-то нравственные проблемы, смягчить моральный климат общества, очень уж мы загрубели, страшно у нас все ожесточилось, злости много в людях. Много злобы клокочет в людях, может быть, оттого, что раньше все было под запретом, не знали на кого злиться, на что злиться, а сейчас уже знают и безудержно выплескивают эту злость...

— Злятся и на правых, и на виноватых, очень озлобились сердца, очень много в них яду и зависти...

— Много, конечно, выплеснулось всякого, потому что много обманов раскрылось, лжи, несправедливости... Поэтому все сейчас всколыхнулось. Поэтому, с одной стороны, гласность и демократия, все вздохнули свободнее — и это прекрасно, но, с другой стороны, моральная обстановка стала довольно тяжелой, мрачной, и, естественно, люди, особенно молодые, хотят ее как-то смягчить, разрядить...

Я не оправдываю ожесточение сердец, хотя понимаю откуда все это пошло. Наши высокие слова вошли в противоречие с тем, что мы видим вокруг. Мы вдруг увидели то, на что раньше закрывали глаза. Все общество играло в жмурки. И вдруг увидели, что у нас миллионы людей живут на пенсию меньше пятидесяти рублей. Как можно жить на такую пенсию? Значит у нас есть бедные люди. А сколько оказалось заброшенных людей, одиноких? Человек умирает в коммунальной квартире и несколько дней лежит в своей комнате, никто об этом не знает. Сколько у нас блокадников в Ленинграде — мы вот ходили к ним домой, в страшных углах живут, никому не нужны, старые, инвалиды. Инвалиды — еще одна наша общая боль, наш стыд. У нас же инвалиду на коляске не проехать нигде (иногда он и коляски достать не может), он ни в один музей не может попасть, потому что у нас в музеях нет пандусов, предусмотренных для инвалидов. По этой же причине он ни в одно присутственное место не может попасть. Для пожилых людей у нас место предусмотрено в автобусе, а им не влезть в этот автобус, потому что у него высокие ступеньки. Так же и в электричку трудно влезть и сойти с нее. Никто у нас об этом не думает. Наше общество создано как бы только для здоровых и счастливых людей.

Дома престарелых находятся в ужасном состоянии. Даже крупнейшие наши производственные объединения, фирмы, заводы не заботятся о людях, которые отдали им свою жизнь, проработали у них десятки лет. Вышел человек на пенсию, подарили ему электрический самовар, распрощались — и все, дальше встречаются с ним только на похоронах... У нас нет хороших домов для престарелых, которые построили бы предприятия для своих рабочих-ветеранов. А, между прочим, эти рабочие и служащие создавали огромные ценности, они вполне заработали себе право на ухоженную старость в хорошем доме призрения. Пользуемся же мы до сих пор домом для ветеранов сцены, созданным еще до революции. А что, разве, к примеру, «Электросила», не может создать образцовый дом для престарелых?.. Но нет, и в голову не приходит этим заниматься. Получается, что старый человек уже и не человек, ибо он бесполезен...

Мы ругаем капитализм, а сами-то так же прагматичны, как капиталисты, только более глупо прагматичны. Мы не понимаем, что люди, которые сейчас работают на производстве, заранее знают, что и о них не будут заботиться, когда отправят с самоваром на пенсию...

— Горько все это слышать, горько... Ведь отношением к старости проверяется уровень реального гуманизма и общества, и отдельного человека, особенно цветущих лет, молодого... Кстати, хочу поинтересоваться у председателя совета Общества милосердия «Ленинград» — много ли в вашем обществе молодых людей?

— Большинство. Есть и школьники, и студенты педагогических и медицинских училищ, учащиеся ПТУ, есть и студенты вузов, есть молодые специалисты, есть группа религиозных ребят, есть группа хиппи, словом, у нас самые разные молодые люди...

— Какой бы проблемы мы ни коснулись, выясняется, что она так или иначе повернута к молодежи. А если нам с вами вернуться в молодость, в вашу, Даниил Александрович, молодость?.. Каким вы были в свои юные годы?.. Какими были ваши отношения со старшими?.. Что из детства вы пронесли через всю жизнь?..

— У нас была очень хорошая школа. Я имею в виду нашу ленинградскую школу на Моховой. До этого я учился в Старой Руссе, в других школах, а с шестого класса — на Моховой. Прекрасная была школа. Не только потому, что дала знания, не только потому, что вообще эти годы были хорошими, но и потому, что школа наградила меня друзьями, и до сих пор я живу этой дружбой. Оказалось, что школьные друзья — самое прочное приобретение для души. Большая часть моих друзей — школьные друзья, хотя расставались на десятки лет... Как правило это интересные и хорошие люди, которые много поработали, много сделали, самые разные люди. Вот это из детства. Потом юность, моя молодость — все это отняла война, поскольку я с первых дней ушел на войну добровольцем и воевал почти до конца войны. Очень хорошими были студенческие годы.

Были и горькие вещи. Помню, меня не принимали в комсомол, потому что отец у меня был лишенец. Было такое звание: отец, лесник, был сослан в Сибирь и лишен избирательных прав. Его привлекли по делу Промпартии и сослали. И меня никуда не принимали. Это было очень горько. Но потом, уже перед войной, я вступил в комсомол. Меня сначала приняли в кандидаты комсомола... У многих моих друзей, школьных и студенческих, отцов и матерей сослали, а потом самих ребят выслали из Ленинграда. Тяжкое было время. Но тем не менее, помимо всего этого, была какая-то сильная тяга к гуманитарным наукам. Мало того что мы занимались в институте, так еще ходили в Центральный лекторий на Литейный, там были курсы по истории литературы, античного искусства, театрального искусства, живописи. Мы ничего не пропускали, бегали на эти курсы и лекции. Бегали в филармонию. Мы очень жадно пользовались Ленинградом. Ходили по всем театрам. Ленинград был сокровищем. Мы чувствовали, что покинем Ленинград (многие действительно уехали из Ленинграда на работу — у нас были геологи, строители), и торопились им насладиться. Эта жажда насладиться Ленинградом очень характерна для моей юности.

— А со старшими вы ладили или отношения с ними тогда были конфликтными?..

— Конфликтными. И у меня лично, и у моего поколения. Я бы сказал: глупо конфликтными. Вся эта старая домашняя обстановка казалась нам выражением мещанства, мы старались выбросить даже старые книги...

— Человек, умудренный жизнью, отец, дед, какие советы вы могли бы дать молодым людям, для которых мы выпускаем свой журнал? Есть ли слово, которое бы вам хотелось сказать им, нашим наследникам и продолжателям?..

— Не слушать ничьих наставлений. Уважать только тех взрослых, которые не дают никаких советов, пока сам у них не спро-

сишь. Дело в том, что все эти советы даются в таком возрасте, когда представление о физических и духовных возможностях молодого поколения уже очень трудно соотносить с собой. Люди, которые дают советы, редко относятся к себе критически. Они считают, что они многого достигли благодаря своему уму-разуму, своему труду. Я думаю, что многого люди достигают, если они действовали честно, благодаря своим способностям и таланту, которые передать невозможно. Необходимость труда, трудолюбия передать невозможно. Это тоже талант. Этот талант зависит от того, занимаешься ли ты делом, которое тебе нравится, которое тебя увлекает. Тогда ты можешь быть трудолюбивым и тратиться на свою работу — все в радость будет. Но это часто от тебя не зависит.

Найти себя бесконечно трудно. Большинство людей имеют неярко выраженные способности, размытые способности. Человек может написать хорошее сочинение по литературе, и стихи, и нарисовать может, и на гитаре поиграть, и с компьютером поработать, и книжную полку хорошую сделать. Ему кажется, что он все может, и часто он живет много лет с этим ощущением. И в то же время он не в состоянии найти работы, которая увлечет его, в которую он влюбится. А та работа, которую он делает, приносит ему разочарование, кажется нудной, скучной, чужой... Так проходит жизнь. Этого человека даже обвинять трудно, потому что мы не знаем, не умеем находить свои способности.

Когда думаешь о лозунге социализма «От каждого по способностям, каждому по труду», привлекательному лозунгу, то каждый раз упираешься в его первую часть: что значит — от каждого по способностям? А какие у него способности — вы ему подскажите... Нет, никто не может ему подсказать, какие у него способности. Он кончает школу и в растерянности останавливается перед сотней дверей: кажется ему, что можно войти в любую из этих ста дверей, но ведь это не так. Дверей-то для каждого человека существует от силы три-четыре. А он не знает, где они, они все одинаковы, там ничего не написано: для него это или не для него...

Так что увольте меня от необходимости давать молодым советы. Все эти советы большей частью дают удачливые люди. Но имеют ли право удачливые люди давать советы — вот вопрос...

Около девяти вечера, на третьем часу нашей беседы, к Гранину приехал его друг, физик из какой-то очень солидной фирмы. Даниил Александрович предложил сделать перерыв и махнуть на Щучье озеро искупаться.

От нагретой земли, от травы, сосен, кустов цветущей сирени исходили волны запахов — сладких, смолистых, дурманящих... Коегде по дороге в выбоинах стояла вода.

— У вас тут, в Комарове, никак серьезный дождь в воскресенье прошел? — спросил физик писателя.

— Была замечательная гроза, — отвечал писатель, заметно воодушевляясь. — Я вышел на крыльцо и сорок минут наблюдал за ней. Знаете, когда смотришь на небо во время грозы, возникает ощущение, что природа нуждается в катаклизмах, в разрядке. И как после этого все оживает — чудо...

Общество — продолжу я автора «Иду на грозу» — тоже нуждается в катаклизмах, в очистительной грозе. Только бы не ограничилось все сверканием и громыханием в небесных сферах, только бы пролился освежающий, оживляющий дождь... Впрочем, теперь это

зависит прежде всего от нас, от наших разума, воли, способности руководствоваться собственным мнением, умением творить благо.

Жизни возвращается смысл, появляется идея жизни. Это главное.

Июнь и начинался жарой, но самые горячие, раскаленные дни пришлись на конец месяца. Многие делегаты партконференции, сняв пиджаки, сидели в рубашках. Такого, пожалуй, мы еще не видели в торжественно-строгом Кремлевском Дворце съездов. Раньше в этом зале люди находились при полном параде, застегнутые на все пуговицы.

Всматривался в телевизионный экран, искал среди слушающих речи людей своего недавнего собеседника, одного из делегатов конференции от Ленинградской партийной организации. Искал и не находил. Совсем недавно это было бы проще простого: даже на официальных приемах Гранин не был при галстуке, а теперь поди разбери — вон их сколько, с распахнутыми воротниками рубашек... Ждал его выступления с трибуны. И не дождался. Желающих сказать свое слово было много, но если бы выступили все желающие, конференция затянулась бы надолго, и решено было речи тех, кто записался для выступления в прениях, но не успел выступить, опубликовать в полном стенографическом отчете конференции. Знаю, что Гранин передал свое выступление для включения в этот отчет.

И все-таки я увидел и услышал писателя на конференции. Не в самом дворце, а на площади перед входом в него. Не в июне, а в августе, в предпоследний день последнего месяца жаркого лета восемьдесят восьмого в телевизионном фильме Виктора Лисаковича «Слушай, товарищ...», посвященном рассказу о XIX Всесоюзной партийной конференции. «Я выделил бы три самых тяжелых проблемы, которые нам надо решить в первую очередь, — говорит в картине Гранин. — Это — продовольствие, жилье, медицина». И хотя в нашей июньской беседе речь шла преимущественно о сфере нематериального, того, что испокон веку называют «не хлебом единым», Гранин, как мне показалось, все время держал в уме и проблему хлеба единого... А в большой, на целую полосу статье в «Правде» (4 августа 1988 года) он сказал о хлебе едином уже в полный голос:

«Мы подошли к опасной границе нового разочарования, на этот раз в реальной, практически осуществляемой идее перестройки. Не следует ли в связи с этим подумать о мобилизации всех наличных средств, людских и материальных. Что я имею в виду? Пусть вещи крамольные, ставшие у нас табу, но давайте смотреть правде в глаза. Не подошла ли нужда пересмотреть дорогие программы — космическую, строительство весьма сомнительных, непрестижных сооружений, вроде ленинградской дамбы. Все это может подождать... Может, следует сократить помощь другим странам. Не по карману нам выступать благодетелями, когда сами бедствуем. Да и не очень морально это. Может быть, наконец, следует сократить срок службы в армии, обеспечив миллионами молодых рук и голов наши хозяйственные нужды».

Конечно же, Гранин прав и надо сделать все посильное, чтобы дать людям возможность жить по-человечески уже сегодня — сколько, право, можно кормить обещаниями распрекрасного будущего... Но считать это главной задачей, важнейшим делом, смыслом жизни? А как же быть тогда с впитанным нами с молоком матери убеждением, что «человек выше сытости»?.. Ведь и во времена всеобщей нехватки самого необходимого для поддержания и воспроизводства жизни, самого необходимого в смысле материального до-

статка, мы печемся не только о «накормлении», но и об идеалах, о нравственных нормах и установлениях. Доктор философии Вадим Михайлович Межуев, за работами которого я слежу с особым интересом, написал недавно, анализируя современную экономическую публицистику: «Социализм — замечательная идея... Гуманистическая, мощная идея, которую не свести к „накормлению“. Нет ни одного философа, который сказал бы, что деньги и рынок — высшие блага... Не нужно новой апологетики. Хотя бы и оздоровления экономики, которое — ясно же — необходимо. Нужно видеть и „удерживать“ и отдаленные идеалы».

Быть «выше» сытости легко сытому, одетому и обутому. Когда-нибудь все у нас будут такими, в конце концов мы сумеем накормить досыта в своей стране всех. И что будет тогда? Сытые, не разумеющие голодных, будут ли они, будем ли мы разуметь друг друга?.. Выше или ниже сытости, но к сытости же не сводим человек с его бессмертной душой, чудодейственным разумом, страдающим сердцем. И если мы всем миром, как у нас заведено, наваливаемся на программу накормления человека, то не забудем ли в этом страстном порыве о его высоком предназначении, об отдаленных идеалах?..

Делюсь этими соображениями-сомнениями с Даниилом Александровичем Граниным, к которому в середине августа приехал в писательский Дом творчества в Дубулты, на Рижское взморье, и слышу в ответ речь в жанре, как бы поточнее определить, исповеди-отповеди, что ли...

— Сколько бы мне ни говорили о том, что не хлебом единым жив человек, об идеалах, о духовной жизни — совершенно справедливых, бесспорных вещах, я стоял и буду стоять на своем: сегодня нет ничего более важного, ничего более нравственного, чем забота о том, чтобы накормить человека. Одно дело — не хлебом единым, а другое дело — когда хлеба нет единого... О каких можно говорить отдаленных идеалах, когда люди сидят полуголодные в стране, сидят не год, не два, не пять, и положение не улучшается! Все остальное, простите меня за резкость, в такой ситуации выглядит болтовней. «А что будет, когда мы всех накормим?!» Что будет — как-нибудь успеем разобраться...

Россия, Советский Союз, страна наша почти все семьдесят лет не кормлена как следует. Семьдесят лет стоим в очередях за простыми вещами... Начинаем вычислять, когда же было хорошо. И не можем толком вычислить... От нас скрыта даже история голодовок, голода в стране... То Украина вымирала от голода, то Молдавия, то Поволжье... О каких можно говорить спокойных и сытых годах? Да я не знаю, когда они у нас были...

Добывание хлеба насущного у нас часто почему-то противопоставляют духовным заботам. А между тем в нашей текущей работе по накормлению человека мы получаем чрезвычайно высокую и важную духовную возможность... Дело в том, что мы не только довели свою экономику до кризиса, а народ до голодухи, но при этом мы еще лишили людей счастья полноценной работы. В течение последних десятилетий мы сплошь и рядом делали никому не нужные вещи, некрасивые сапоги, которые никто не носит, тракторы, которые гоняют по городам, таскают большие грузы, как наш «Кировец», ненужные комбайны, некачественный металл... Строили БАМ без особой к тому нужды, занимались вредной для земли мелиорацией... На нужных производствах людям не давали работать всласть, вдосталь. И сейчас, когда мы читаем про коллективный

подряд, аренду земли, что бросается в глаза? То, что когда люди получили в аренду ферму — разводить бычков, свое поле, стали хозяевами, они начали работать в четыре-пять раз больше и лучше, чем раньше.

Человек любит и хочет работать. А в наших условиях, несмотря на бесконечную болтовню о труде как источнике всех благ, как деле доблестном и героическом, мы не давали возможности человеку показать себя в труде. Ни на заводе станочнику (я сталкивался с этим), ни крестьянину в поле... Единственные, кто мог у нас работать вдоволь, это творческие работники: художник за своим мольбертом, писатель за своим столом... А человек, зависимый от производства, от нашей системы производственной, работать не мог. И до сих пор не может.

Духовность — это прежде всего создать такую систему производственных, трудовых отношений, при которых люди действительно смогут работать досыта, показать свое искусство, виртуозность, ум, вот вам то высшее благо, о котором пекутся философы, тогда мы не только накормим народ, но и вернем труду его духовное начало, которого в значительной степени мы были лишены...

Сказать, что всюду и везде так было, я не могу. Но часто, очень часто... Вспомните хотя бы историю Богомолова с ленинградского «Полиграфмаша», виртуозного рабочего, гениального фрезеровщика, которому много лет не давали возможности работать в полную силу, показать все его искусство... Ну буквально все ополчились на него, начиная от рабочих и кончая администрацией... А история с «архангельским мужиком» — Сивковым?.. А взять наших искусников-мастеров — мебельщиков, реставраторов — они же просто повывелись... Почему? Да нет возможности работать у людей...

И вот когда мы начинаем рассуждать о не хлебе едином, о социальных идеалах и прочих высоких материях, мы как-то забываем о простом счастье — счастье удовлетворения от своего труда. Оказывается, мы уже давно не давали людям этого удовлетворения.

И тут я должен заметить, что во времена стахановского движения, во времена Сталина, как мы их называем, хотя это не времена Сталина, а времена индустриализации, подъема ударничества, рождения стахановского движения, — так вот, в эти времена люди получили возможность работать в полную силу... Сейчас недоумевают, как это могло сочетаться — энтузиазм, трудовой подъем с эпохой репрессий, с тем, что творилось в деревне при сплошной коллективизации? Тут, конечно, есть сложные связи, но есть и одна простая, очевидная вещь. То, что люди получили возможность осмысленной работы. Работы по продолжению индустриализации России, которая началась еще до революции. Теперь они работали уже не на капиталистов, а на себя, создавая металлургию, машиностроение, энергетику. Это был процесс созидания... Страна действительно нуждалась в электроэнергии, в тракторах, в станках, в металле. Была ясная, разумная цель — все это создать, получить. И люди полностью выкладывались в процессе этого созидания, досыта работали, не считаясь с тяготами и лишениями. Была радость сотворения. А потом труд терял свою разумность. Мы уже не сто тысяч тракторов, о которых мечтали, производили, а миллион, за миллион ушло, а что, для чего они, для чего их столько, да и такие безобразия творились в колхозах, масса техники не использовалась, пропадала... И металла нагнали некачественного пропасть, а зачем, спрашивается... Началась абсурдность, которая стала сейчас всем очевидна.

Я не берусь во всех подробностях об этом говорить — тут нужен специальный экономический анализ, хочу подчеркнуть, что была у нас в стране пора, когда труд людям был в удовольствие, всласть, когда они трудились с энтузиазмом и творили чудеса...

— А военная пора? Не приходится, разумеется, поминать здесь о труде в удовольствие, всласть, но разве в тылу люди не трудились поистине героически, перекрывая все представления о человеческих возможностях?..

— Это была совершенно особая пора — война... Вспоминаю, как мы, фронтовики, приезжали в Челябинск получать танки «ИС», помогали рабочим их собирать, оттуда мы уезжали на испытательный полигон, на обкатку, танки грузили в эшелоны, потом шли на них в бой... Действительно, люди совершенно не жалели себя — там, на танковом заводе, весь труд их был виден и ясен как на ладони. Все это для фронта, для победы. Но это, повторяю, были совершенно особые условия. Вот вы сделали оговорку — мол, нельзя говорить в применении к войне о труде с удовольствием, а те же челябинские танкостроители, наши блокадники, изготовлявшие в осажденном Ленинграде мины, снаряды, производившие пороха, вспоминают, несмотря ни на что, об этом с удовольствием. Это особое чувство глубочайшего удовлетворения, подъема духа человеческого, свободы. Впервые на это обратила внимание Ольга Берггольц, написавшая в одном из стихотворений, что мы «такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам...»

В этой разумности, осмысленности труда есть еще ощущение свободы, своей нужности. Когда труд осмыслен и разумен, человек свободен. Тут начинает действовать известная формула свободы как осознанной необходимости. Когда ты видишь необходимость твоего труда, когда понимаешь, что каждое твое движение, каждый час твоего труда нужны, ты чувствуешь себя свободным...

— Вот наконец и сказано это слово — «свобода». Как часто мы сейчас его произносим, но как по-разному воспринимают люди саму идею свободы. Впрочем, нового здесь ничего нет. Еще Гегель в «Философии духа» писал, что наиболее неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям из всего мира идей именно идея свободы, и ни об одной не говорят обычно с такой малой степенью понимания ее. Да, приходится признать, что нам всем, пусть и в разной степени, недостает и философской, и политической, и нравственной, и правовой культуры, мы все в значительной мере еще не готовы к демократии, гласности, нам всем приходится сейчас учиться... Об этом сегодня, в день нашей беседы, написано в латвийских газетах, где приводится отчет о встрече секретаря ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева с представителями творческой интеллигенции республики. Один из выступавших, драматург, сказал, что мы сейчас столкнулись с парадоксальнейшей ситуацией: «Знаете, нам дали свободу, и мы не знаем, что с нею делать...» Некоторые из нас, не зная, что делать со свободой, пугаются самого этого слова и того состояния духа, которое им описывается. Показательна в этом отношении реакция части зала, где проходила Всесоюзная партконференция, на выступление писателя Григория Бакланова. Ведь зашумели, зашикали, демонстрируя свое несогласие, именно тогда, когда он заговорил о свободе, о тех, кто борется сегодня против гласности, борется тем самым за свое порабощение...

Так что же нам делать со свободой, которой мы так добивались?.. Как вы сами, Даниил Александрович, ощущаете — стало ли

больше свободы в нашей стране? Свободы и свобод, которые, как известно, составляют основное содержание права — а мы ведь стремимся создать правовое государство?

— Свободы у нас в стране стало больше. Это реальное достижение нашей перестройки. Но свобод у нас еще очень мало. Каких свобод?..

Мы не можем еще свободно пойти получить паспорт и уехать за границу, в ту страну, куда мы хотим. Для этого нам нужно получить приглашение, или командировку, или достать туристическую путевку, или что-то еще пятое-десятое...

У нас нет свободы жить где хочешь в своей стране. Я, например, не могу приехать в Москву и прожить там, скажем, год. Сразу возникает вопрос о прописке. Или в Киеве, или в Свердловске...

Мы бьемся сейчас, например, за то, чтобы священникам разрешали в больницах причащать умирающих. Почему этого нельзя делать?.. Это не разрешают делать. Не разрешают — и все. Значит, свобода совести урезана.

Дальше. О свободе печати. Да, разумеется, печать у нас стала значительно свободнее. Но и тут — есть ряд вещей, которые не позволяют публиковать. Из моей статьи в «Правде» выкинули кусок, где я пишу о непонравившихся мне выступлениях на партконференции. Почему я, делегат этой конференции, не могу покритиковать выступление, допустим, секретаря ЦК партии? Ведь с самой высокой партийной трибуны сказано, что у нас нет зон, закрытых для критики...

Или, например, у меня, как и у многих наших людей, есть свое мнение по поводу больного вопроса — событий в Нагорном Карабахе. Я могу с чем-то в принятых на этот счет решениях не согласиться, но где это свое несогласие я могу высказать, чтобы меня услышали? Где может наш гражданин покритиковать решение Верховного Совета?..

Словом, я веду к тому, что у нас есть еще права неполные, урезанные — даже в смысле свободы печати...

Я уж не говорю о том, что есть вообще закрытые для рассмотрения зоны... Вот мы, писатели, ученые, хотим обсуждать вопрос о Чернобыле, о строительстве атомных станций, проблему захоронения радиоактивных отходов. Хочу запросить соответствующие наши ведомства: куда вы деваете эти отходы, где вы их хороните? Я хочу знать, где вы их хороните?.. Мне, да и не только мне, не дают даже задать этот вопрос публично. А ведь речь идет о нашей жизни, о здоровье народа...

Ряд тяжелейших экологических проблем нашего бытия еще закрыты для рассмотрения, для обсуждения. Это неправильно и ненормально. Это те свободы, которых мы не получили.

Так что давайте говорить не вообще о свободе, иначе разговор примет схоластический характер, а о коренных, насущных свободах, в которых мы позарез нуждаемся.

Сегодня для нас, может быть, важнее всего остального то, что связано с природой, с экологией. Засилие технократии и военно-промышленных кругов в этих вопросах ничем не может быть оправдано...

Думаю, что наше общественное экологическое движение могло бы существенно помочь недавно созданной государственной организации — Комитету по охране природы. Но у нас нет такого мощного движения в масштабах страны — только одиночки-журналисты, писатели, ученые бьют в колокола. Им не дают создать такое дви-

жение. Между тем оно необходимо, необходим народный экологический фронт, который бы не только требовал, контролировал, протестовал, но и оказывал бы практическую помощь государству в деле сохранения лесов, экономии электроэнергии, воды.

— Сколько надо успеть сделать, переделать, осуществить — голова кругом идет... И все — важное, неотложное, безотлагательное. Но должна же быть, как принято теперь говорить, система приоритетов. Для великой русской литературы прошлого века таким приоритетом был человек — с его совестью, внутренней свободой и стремлением к нравственному самосовершенствованию. Помните, в «Подростке» у Достоевского: «Свет надо переделать — начнем с себя». Начав глубокую перестройку общества на принципах демократии и гласности, мы заявляем: «И если в нас не произойдет широкой, глубокой нравственной революции, никакой перестройки у нас не будет». Но если у Достоевского акцент — на самостоятельную внутреннюю работу («надо выделаться в человека», «с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные»), то в нашей перестройке упор делается на совершенствование общественных отношений: «Нам надо изменить не столько того или другого человека, сколько общественные отношения... Надо создать такие общественные отношения, которые порождали бы соответствующую, адекватную надстройку. Вот потому и задуманы политическая и экономическая реформы».

А каковы ваши приоритеты, Даниил Александрович? На что бы вы обратили особое внимание в этом вопросе вопросов — изменении человека, перестройке общественных отношений?..

— Будем исходить из той практики человеческих чувств, страстей, которая наблюдается последнее время...

Как оживились люди, как они загорелись в дни перед партийной конференцией! Как запылали все люди со своими предложениями, тревогами, надеждами, которые они несли к этой конференции. Я бывал на многочисленных собраниях перед конференцией и просто поражен был. Зачем далеко за примерами ходить — та же наша знакомая мне Ленинградская писательская организация, как она преобразилась, какие были выступления, мысли интересные, какие чувства клокотали! Почему? Да потому что люди поверили, что они могут что-то изменить, подсказать, что их голоса что-то значат. Этого не было никогда раньше, обычный рядовой человек и надеяться не мог быть услышанным. А сейчас это произошло.

После конференции произошел спад этих чувств и надежд. Конференция в этом смысле не выполнила всего того, чего от нее ждали, на что надеялись. Да она и не могла этого сделать: слишком велик был напор адресованных к ней желаний и требований.

Но то, что она сделала, — это исключительно важно и может дать результаты, если будет проведено в жизнь. Относится это прежде всего к участию людей в государственных делах. Новые возможности тут дает реформа политической системы, конечной целью которой, как было сказано в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, являются всестороннее обогащение прав человека, повышение социальной активности советских людей.

Если все это заработает, в человеке поднимется самоуважение, самодостоинство, они позволят ему впервые почувствовать себя хозяином, от которого зависит все начальство. Раньше он зависел, теперь от него будут зависеть. А значит, он может и должен становиться политиком, он должен думать, решать, определять. Это пре-

ображение, это новые требования к человеку как к мыслящему существу. Раньше у нас как — рабочая сила!

Другая сторона процесса — внутренние требования человека к самому себе. С этими требованиями у нас плохо. Мы от себя не требуем и не хотим требовать. И, знаете, может быть, мы в чем-то правы. Если человек приходит в магазин, а на прилавках пусто, если он приходит в учреждение, а ему там хамят, его унижают, какие, спрашивается, он может предъявлять к себе требования?.. Да он переполнен возмущением и гневом, он хочет, чтобы ему создали элементарные условия для жизни, чтобы он мог прокормить свою семью, вовремя приехать на работу на общественном транспорте, заправить свою машину бензином, не тратя на это три часа (вчера я видел в Риге подобную сцену)... О каких требованиях к самосовершенствованию может идти речь, когда человек поставлен в такие условия?..

В церковь я не могу попасть — она переполнена. Не строят новых церквей, хотя наши приходы не могут удовлетворить желающих.

Немудрено, что общество загрубело, охамело, обозлилось... Трудно, очень трудно предъявлять тут какие-то особые требования к человеку. И тем не менее — это удивительно, просто чудо — когда видишь, что эти требования находят у людей какой-то отклик... Я имею в виду прежде всего деятельность нашего общества «Милосердие», о чем мы уже говорили. Это же поразительно, что люди, молодежь делают добрые дела, не желая никакой славы, стремясь остаться анонимами. Пусть их не так много, но они же существуют, эти люди, которым надоело жить среди жестокости и равнодушия.

Призыв к милосердию, благотворительности, филантропии, находящий отклик в душах, и есть путь к самосовершенствованию, один из возможных путей...

Все эти фонды (Детский фонд, Советский фонд культуры, «Мемориал») — гуманные учреждения, которые возникают из потребностей людей, это же все самодеятельные организации. Я думаю, что неформальные объединения, группы, которые сейчас возникают, это замечательное движение. Оно открывает пути к самосовершенствованию человека, потому что дает возможность каждому проявить доброту, инициативу, отзывчивость, помочь попавшим в беду детям-сиротам, раненым воинам-афганцам... Помогая другим, занимаясь этой благодеятельностью, человек становится лучше, совершеннее...

Даже рок-группы, которые так заполнили жизнь молодежи, в своем большинстве вовсе не пустым, зряшным делом заняты, слепым подражанием нелучшим западным образцам, как кое-кто у нас считает. Нет, наши рок-группы — это политизированные группы молодых людей, это политизированные песни. Они заставляют молодых думать, они воспитывают нетерпимость к разного рода нашим благоглупостям, догматизму, закоснелым порядкам. Есть среди них и мусор, но надо уметь видеть и хорошее. А среди них — много хорошего. Группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова — замечательная группа, и музыкой, и текстом песен, и исполнением.

Наша пространная, длившаяся, с перерывами, два летних месяца беседа подходит к концу, — а мы еще, оказывается, не все обсудили, не обо всем потолковали. Лично мне жаль все-таки, что собственно литература осталась за бортом нашего разговора. Но,

с другой стороны, все равно я тут вряд ли многое бы разузнал, ведь самое сокровенное, главное писатель высказывает не в беседах и статьях, а в романах, повестях, рассказах — не через прямую речь, а через «переплетение ткани» своей прозы, через своих героев.

Главный герой одного из лучших, на мой вкус, произведений Гранина-прозаика — повести «Наш комбат», впервые увидевшей свет в журнале «Север» двадцать лет назад и долгое время из-за своей остроты и резкости не выходившей отдельным изданием, словно участвует в развернувшейся сегодня полемике об отношении к нашему прошлому (в повести это прошлое — Отечественная война сорок первого — сорок пятого годов), о том, надо ли пересматривать, переделывать это прошлое. Он находит в себе силы признать свою неправоту, открывшуюся ему через много лет, принять на себя вину и говорит фронтовым друзьям, своим бывшим подчиненным. «Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно».

Вы хорошо сказали, комбат. Для того-то и передумываем, чтобы переделать. Не прошлое. Настоящее. Сегодняшнюю нашу жизнь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «АВРОРЫ»

3 декабря 1988 года в Актовом зале Ленинградского государственного университета состоялся благотворительный вечер журнала «Аврора», все средства от которого переведены на счет Ленинградского отделения Всесоюзного общества «Мемориал» — на строительство памятника жертвам сталинских репрессий.

На вечере выступили академик Александр Данилович Александров, Александр Городницкий, Борис Гребенщиков, Михаил Дудин, Михаил Жванецкий, Марина Жженова, Александр Житинский, Валерий Приемыхов, Алексей Самойлов.

Было зачитано «Обращение к советской интеллигенции», подписанное видными деятелями культуры: «Трагические события в Закавказье и их освещение в центральной прессе заставляют всех нас задуматься над проблемами нравственных и правовых норм сегодняшнего дня... Мы, группа ленинградцев, обратились в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР с заявлением о необходимости полной гласности о событиях в Закавказье — правда, только правда и ничего, кроме правды,— единственное, что может спасти положение... Наша честь и наша совесть требуют проявления принципиальной позиции».

Участники вечера присоединились к этому обращению.

Коллектив «Авроры» глубоко скорбит в связи с постигшим народ Армении большим горем — гибелью людей в результате землетрясения.

Сотрудники редакции журнала перечислили для помощи пострадавшим свой однодневный заработок.



Евгений Куницын

Автор этих заметок и фотографий — бывалый моряк, вот уже почти тридцать лет плавающий на пассажирских судах Балтийского морского пароходства. В настоящее время Евгений Леонидович Куницын — пассажирский помощник капитана теплохода «Михаил Калинин».

ПАМЯТНЫЙ РЕЙС

По возвращении из очередного рейса в Лондон, в начале августа 1960 года, нам объявили, что в Англию больше не пойдем. «Балтику» заменит теплоход «Латвия».

Все стали гадать: что бы это могло значить? По пароходу разнесся слух о предстоящем спецрейсе. Но куда и зачем — пока тайна.

В разговоре с грузчиком порта услышал:

— Никиту повезете?

Вот тебе и тайна!

На следующий день на судне только и разговоров, что идем к берегам США и сам Никита Сергеевич Хрущев будет нашим пассажиром. Вместе с ним на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН отправляется представительная делегация. Сногсшибательные новости!

На «Балтике» к этим новостям отнеслись по-разному. Нашлись и такие, кто поспешил списаться с судна: уйти в отпуск или перейти на другой корабль. Перестраховщики шептались по углам: что, мол, не исключено, что американцы потопят «Балтику», мстя за сбитый самолет-шпион «У-2» и взятого в плен его пилота — Пауэрса. Вспомнили, как на парижских переговорах в мае 1960 года Хрущев грубовато пикировался с президентом Эйзенхауэром, отчего отношения между двумя странами стали еще напряженнее. Словом, это путешествие через Атлантику было сопряжено с риском. Лучше — от греха



На борту теплохода «Балтика», идущего к берегам Америки, сентябрь 1960 года. Никита Сергеевич Хрущев среди членов экипажа.

подальше. А пока тем временем «Балтику» пришвартовали к тихому причалу в глубине порта. Днем и ночью к борту подавали машины с ящиками, тюками, мешками: шла погрузка необходимого снаряжения.

А составу экипажа, который обычно обслуживал регулярные рейсы Ленинград — Лондон, добавили трех водолазов, несколько радиооператоров, зубного врача. В судовой роли теперь значилось 189 человек.

Больше всего затруднений возникло при выборе каюты для Хрущева. Его предполагали поселить в «люксе А», что по правому борту. Каюта просторная — с гостиной, спальней, ванной комнатой; переборки отделаны ценными породами дерева. Но вот беда — при качке стены скрипели. Дерево «играло». Точно такой же номер по левому борту именовался «люкс Б», иначе говоря, был «вторым». При штормовой погоде там было потише, но уместно ли поселить самого почетного гостя в каюту с литерой «Б»?

Спорили долго, пока кто-то не предложил мудрое решение: поменять таблички местами. Это всех устроило.

Однако за два дня до выхода в рейс на борт доставили светлые пластиковые листы. В то время в моду начал входить пластик. Люди выбрасывали на свалку старинные шкафы, стулья, резные комоды и приобретали модерновую мебель, облицованную пластиком. И вот кому-то из начальства пришла в голову «гениальная» мысль — заменить деревянные переборки в «люксах» пластиковыми покрытиями.

— Хрущеву понравится! — уверяли они.

Так и сделали.

Утром девятого сентября 1960 года пришли в Калининград. Сюда прибывали самолетами наши пассажиры: делегации СССР, Украины, Белоруссии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Первыми — украинцы, за ними остальные участники рейса. Главного пассажира пока не было. На причале собралось много провожающих. В школах закончились занятия, и на пирсе появилась большая группа пионеров с цветами в руках. Нам сообщили, что самолет с Никитой Сергеевичем уже приземлился на аэродроме, и он вместе с сопровождающими едет в порт.

Показался открытый черный лимузин. В машине несколько человек, но все внимание сосредоточилось на Хрущеве. Он был в сером плаще, без шляпы. На борту его встретил наш капитан — Павел Алексеевич Майоров и отрапортовал о готовности турбоэлектрохода к выходу в море. Никиту Сергеевича проводили на прогулочную палубу правого борта к микрофону. Запомнились последние слова краткой речи: «...Пионерам — хорошо учиться! Морякам — хорошо охранять границы!»

— Счастливого плаванья! Желаем успехов в Нью-Йорке! До свидания! — неслось с причала.

Предстояло десять суток перехода к берегам Америки. Как-то они пройдут, как перенесет морское путешествие наш именитый пассажир?!

Популярность Никиты Сергеевича в то время достигла апогея. Прошло всего четыре года после знаменитого XX съезда партии, на котором как гром с ясного неба прозвучал его доклад, из которого страна узнала о преступной деятельности Сталина. Преодолевая сопротивление многих высокопоставленных партийных и государственных деятелей, Хрущев положил начало разоблачению культа личности «вождя народов». Из лагерей стали возвращаться уцелевшие жертвы репрессий. Многих реабилитировали при жизни, а чаще — посмертно. Да и во всей нашей жизни появились добрые перемены.

По роду своей работы на судне я мог часто видеть Никиту Сергеевича, иной раз даже общаться с ним. Но это удавалось не всегда: каюта по левому борту круглосуточно охранялась. Едва Хрущев выходил на палубу, за ним тотчас появлялся «хвост» из трех-четырех человек. Никите Сергеевичу это явно не нравилось, и он с неудовольствием косился на свою охрану.

Вставал он в шесть утра. Гулял по палубе, поднимался на капитанский мостик, беседовал с капитаном, штурманами, смотрел в бинокль, на экраны радара. В утренние часы Никита Сергеевич обычно усаживался на скамью на корме шлюпочной палубы. Нередко его сопровождали редакторы «Правды» и «Известий» Павел Алексеевич Сатюков и Алексей Иванович Аджубей, подходили и другие товарищи — шла активная подготовка к будущим переговорам в ООН.

После обеда Никита Сергеевич вновь выходил на палубу, чтобы сразиться в шафлборд — широко распространенную на пассажирских пароходах игру. С помощью палок-клюшек надо было попасть в расчерченные квадраты с цифрами, стараясь набрать больше очков. Играть можно один на один и двое на двое. Обычно Хрущев играл в паре с Яношем Кадаром против Аджубея и Сатюкова. Играл с азартом, комментируя ход борьбы.

По вечерам в музыкальном салоне показывали кино. Специального зала на «Балтике» не было, и фильмы демонстрировались на узкопленочном кинопроекторе «Украина». Это воспринималось нормально, никто не высказывал претензий.



В погожий день на верхней палубе «Балтики». Игра в шафл-борд.

Фото Евгения Куницына

Сначала показывали киножурнал. В нем обязательно мелькала знакомая круглолицая физиономия Никиты Сергеевича, а в зале — оживление, веселые реплики самого «героя экрана».

Помнится, в одном из киножурналов показывали строительство плотины. На экране четкая работа диспетчерской службы: телефонный звонок с участка — и мощные самосвалы, груженные камнем, стройматериалами, незамедлительно направлялись умелой рукой диспетчера туда, куда требовалось.

И тут на весь зал — реплика Никиты Сергеевича:

— Ну так бывает пока только в кино!

Ровно в 23.00 он уходил в свою каюту на отдых.

Ежедневно по судовому радио звучали записи любимых песен Хрущева. Особенно часто я слышал песню композитора Майбороды «Рушничок» на украинском языке — самое любимое произведение пассажира номер один. С «Рушничком» просыпалась вся «Балтика», начинался каждый трудовой день. Чтобы потрафить вкусу Никиты Сергеевича, руководитель судовой художественной самодеятельности Леонид Литвинов включил «Рушничок» в программу концерта для пассажиров. Задушевно пел эту песню котельный машинист Юрий Старцев. Дольше всех аплодировал певцу Никита Сергеевич.

Когда окончился концерт, из музыкального салона никто не расходился.

— Может, молодежь потанцевать хочет? — спросил Никита Сергеевич.

Девушки одобрительно захлопали. Грянула музыка. Леонид Литвинов громко объявил в микрофон: «Дамское танго!» Одна из официанток направилась через весь салон к креслу, где сидел, беседуя с Громыко,

Никита Сергеевич и, сделав реверанс, пригласила его на танец.

— Не обучен этому! Вот он, дипломат, может! — Хрущев показал на Андрея Андреевича. — Давай, танцуй! Жене не скажу!

Этот небольшой эпизод долго вспоминали моряки. Всем понравилось, что в поведении пассажира номер один начисто отсутствовала поза, держался он просто и непринужденно.

А вскоре он вовсе завоевал симпатии всех членов экипажа. Накануне штормило, но Никита Сергеевич, не в пример многим пассажирам, держался молодцом. 17 сентября океан смилостивился и вел себя спокойно. Пригревало солнышко, на шлюпочной палубе в плетеном кресле сидел Никита Сергеевич и листал какие-то бумаги. Постепенно палуба стала заполняться пассажирами и моряками. Готовился сюрприз. Никиту Сергеевича окружили члены экипажа, и старший по возрасту (1885 года рождения) наш шеф-повар Алексей Иванович Панов вручил Никите Сергеевичу почетную грамоту. В ней говорилось, что Хрущев внесен в список почетных членов экипажа турбоэлектрохода «Балтика». Сие «звание» он заслужил за стойкость во время недавнего шторма.

Капитан Павел Алексеевич Майоров подарил новоиспеченному моряку тельняшку и морскую фуражку. Никита Сергеевич тут же надел фуражку и заулыбался:

— Теперь, небось, и палубу заставите драить?

— Работа найдется! — серьезно ответил боцман Сергей Заяицкий.

Смех, шутки! У многих в руках появились фотоаппараты. Попросили почетного моряка сфотографироваться с членами команды.

Непрерывно щелкали затворы «фэдов», «зорких», «смен» и других фотокамер.

— Ну как? Есть еще пленка? А карточки подарите? — спрашивал Никита Сергеевич.

Рядом приставили еще одно плетеное кресло, и каждый желающий мог сесть рядом с премьер-министром и сфотографироваться на память. Есть такой снимок и у меня. Аппетит у любителей фотографии разгорался. В какой-то момент кресло с Хрущевым обступили повара, все в белоснежных куртках и колпаках. Затем — матросы, механики, потом стали подходить члены делегаций. Кто-то из ближайшего его окружения пытался сдержать фотострасти моряков и пассажиров, но Никита Сергеевич возразил:

— Пусть фотографируют, пока есть пленка! Снимайте, снимайте! Потом будете внукам показывать.

Его портрет поместили в Книге почета судна. После рейса эту книгу с гордостью показывали пассажирам и многочисленным гостям.

Как только Никита Сергеевич в 1964 году покинул государственный пост, первый помощник капитана Семен Марков тут же безжалостно выдрал историческую фотографию из Книги почета. До сих пор жалеем об этом. Хрущев остался в нашей памяти как человек остроумный, цельный, демократичный, начисто лишенный чопорности.

Последний раз я видел Никиту Сергеевича в огромном зале штаб-квартиры ООН. Мне дали гостевой билет на галерку — на заседание 23 сентября, как раз в день выступления главы советской делегации.

11 часов 55 минут. Мне показалось, что председательствующий особо торжественным голосом объявил по-английски:

— Слово предоставляется Председателю Совета Министров

Союза Советских Социалистических Республик!

Никита Сергеевич энергичной походкой направился к трибуне, В руках желтая кожаная папка. Хрущев остался верен себе и здесь, на высокой трибуне ООН был раскован, остроумен. Помню, минут через двадцать после начала выступления он сделал паузу, чтоб освежить горло. Стакан подал ему личный телохранитель Никифор Трофимович Литовченко. Отпив глоток и приподняв стакан, Никита Сергеевич на весь зал громко сказал: «Боржоми, советская минеральная вода. Очень хороший напиток! Кто не пробовал: советую». В зале — смех. Через некоторое время он вновь отпил из стакана и опять сказал: «Прекрасная вода! Лучше, чем американская кока-кола!» Сидевший в одном ряду со мной пожилой американец наклонился к своей соседке: «Вот это реклама! Будем пить боржоми».

За три дня до отплытия из Нью-Йорка у нас случилось ЧП: сбежал с парохода котельный машинист, двадцатидевятилетний Виктор Яниметс: пошел в город с группой механиков и «потерялся» в одном из универмагов.

Капитан, первый помощник, да и все члены экипажа боялись попадаться Хрущеву на глаза. Тяжелую миссию сообщить премьеру о скандальном происшествии взял на себя Андрей Андреевич Громыко. Как мы позже узнали, Никита Сергеевич реагировал на это так: «Вот дурачок! Хоть бы денег на первое время попросил. Погибнет же с голоду».

Из Нью-Йорка Хрущев возвращался самолетом. Провожал его в аэропорту наш капитан Павел Алексеевич Майоров. Вернувшись на «Балтику», он рассказал, что стоял в стороне, где-то в задних рядах. Но Никита Сергеевич заметил его, подошел, крепко пожал руку, еще раз поблагодарил за гостеприимство, пожелал всему экипажу счастливого возвращения.

После Никиты Сергеевича самым популярным пассажиром на судне был его зять, Алексей Иванович Аджубей. Но не близкое родство с советским премьером выделяло его среди остальных путешественников, а вполне заслуженная молва народная как о прекрасном журналисте и организаторе, сумевшем за короткий срок сделать из скучнейшей газеты «Известия» самое интересное и популярное издание в стране. Даже люди, никогда обычно газет не читавшие, стали активными подписчиками «Известий».

Кроме того, вот уже полгода как выходило воскресное приложение «Неделя» — подлинное детище Аджубея, сразу же завоевавшее огромную симпатию читателей смелой постановкой вопросов, броской манерой подачи материалов. За «Неделей» в киосках буквально охотились.

Выделяло Аджубея и то, как держался он во время рейса среди остальных членов делегаций.

Основная масса пассажиров — профессиональные дипломаты. Это люди, в буквальном и переносном смысле слова застегнутые на все пуговицы. Держались они — особенно первое время — чинно, чопорно: вежливо здоровались с членами экипажа, но до бесед и разговоров с моряками не снисходили.

Иное дело Аджубей. Среднего роста, крепкого сложения, с широким открытым лицом и доброй улыбкой, он был внимателен и доброжелателен со всеми, запросто общался с экипажем. Остановит кого-нибудь из моряков, пошутит, подкупающе улыбнется, и человек охотно ответит на все его вопросы, расскажет о себе. Нередко беседовал он и с музыкантами судо-

вого оркестра. Кларнетист и саксофонист Сергей Плужников с восхищением отзывался о нем:

— Умнейший человек! И наш, лабух!

— Это Аджубей-то лабух?

— Ну да. Он рассказывал, что в молодости играл на альтушке.

По слухам, свою деятельность в «Известиях» он начал с того, что собрал коллектив и изложил свои взгляды на роль газеты и журналистов в послесталинские времена.

— Перестаньте быть «внутренними цензорами» своих материалов, будьте смелее, правдивее, раскованнее, и вы завоюете читателя... А цензоров и без вас хватает!

Аджубея отличали комсомольский задор, ключом бьющая энергия. На него заглядывались наши девушки: официантки и бортпроводницы. Рядом с ним Сатюков, главный редактор «Правды», будучи значительно старше своего товарища, словно бы олицетворял житейскую мудрость, свойственную осмотрительному, много повидавшему и пережившему человеку.

Два редактора как бы дополняли друг друга. В экипаже их воспринимали как единое целое: Аджубей с Сатюковым.

— Аджубей с Сатюковым опять на докладе у Никиты Сергеевича!

Или:

— Аджубей с Сатюковым выиграли партию в шафл-борд у Яноша Кадара и Тодора Живкова.

Команда готовила для пассажиров сюрприз — концерт художественной самодеятельности. Среди моряков подобралось несколько человек с красивыми голосами. Гвоздем программы должен был быть хор. На генеральной спевке руководитель хора и оркестра Леонид Литвинов произнес зажигательную речь:

— Представьте, что нас слушают и сидят в первом ряду Никита Сергеевич Хрущев, Янош Кадар, Тодор Живков, Георгиу Деж, Андрей Громыко, Аджубей, Сатюков.

И хор с воодушевлением исполнил «Песню о тревожной молодости» Пахмутовой. Едва смолкли последние слова, как в задних рядах громко захлопали в ладоши. Все повернули головы и увидели Аджубея и Сатюкова.

— Молодцы, ребята! Прямо Большой театр!—похвалил Алексей Иванович. — Но почему нет объявления о концерте? Нужно обязательно вывесить! Это повысит настроение! Правда ведь? — обратился он к Сатюкову.

Тот согласно кивнул головой.

— Просим извинения, что без разрешения пробрались на репетицию. Проходили мимо и услышали звонкие песни! Вот и заглянули!—улыбнулся Аджубей.— Продолжайте, не будем мешать!

И они направились к выходу из красного уголка. Тут в поле зрения обоих редакторов попала судовая стенгазета «Ленинградец». Они словно приклеились к ней.

А у меня мелькнула дерзкая мысль:

— Напишите, пожалуйста, заметку в нашу стенгазету!

И тут же осекся: кому предлагаю — главным редакторам «Правды» и «Известий»!..

Аджубей и Сатюков посмотрели друг на друга, обменялись улыбками. Алексей Иванович, посерьезнев, спросил:

— Когда выпускаете газету?

— Через два дня.

— Поможем коллеге? — посмотрел он на Павла Алексеевича.

— Придется, — утвердительно кивнул Сатюков.

На другой день я получил от них обещанные полторы странички текста — впечатления о

первых днях пребывания на борту «Балтики». Но самое главное — в конце стояли подписи, и какие: двух ведущих журналистов страны!

А с публикацией этой заметки в «Ленинградце» вышло так. Редактором судовой стенгазеты был Георгий Ж., начальник судовой радиостанции, человек упрямого характера, всерьез мнивший себя литератором и обожавший «улучшать» чужие материалы. Редакторскую правку он вносил даже в текст частных радиограмм, посылаемых моряками домой. Из-за этого нередко возникали недоразумения. Получит, скажем, жена от мужа весточку и начинает волноваться: не мог написать супруг таких слов, уж не заболел ли он, а кто-то другой вместо него составил телеграмму. И тут же в ответ летит срочная и тревожная телеграмма на борт турбоэлектрохода: «Что случилось?» Четвертый механик Николай К. однажды чуть было сгоряча не поколотил незадачливого «литератора», извратившего смысл его послания жене. Ну, а о правке заметок в стенгазету и говорить нечего! Если заметка написана грамотно, стилистически не к чему придраться, редактор морщился и недовольно ворчал:

— Тоже мне Лев Толстой нашелся! — и обязательно что-нибудь переделывал.

Я решил подшутить над ним и показал лишь первую страничку — без подписей Сатюкова и Аджубея.

Надев очки, он внимательно прочитал текст, тут же последовала сакраментальная фраза: «Уже и среди пассажиров Лев Толстой объявился?» — и решительно взял авторучку.

— Прочтите до конца! — протянул я ему вторую страничку с авторскими фамилиями и досыта насладился растерянным выражением его лица. Править главных редакторов «Правды» и «Известий» рука стенгазетчика не поднялась.

До самого прихода в родной порт висела в красном уголке стенгазета, и в верхнем левом углу, «на открытии», была помещена заметка «Так держать!», подписанная Аджубеем и Сатюковым. С интересом читали стенгазету приходившие в гости к морякам друзья и родственники. Поздравляли Георгия Ж., сумевшего заполучить таких именитых авторов. Он скромно отмалчивался. Вскоре исторический номер забрали в только что созданный Музей истории пароходства.



Владимир Высоцкий

Памяти Шукшина

Мы спим, работаем, едим, —
А мир стоит на этих Васях.
Да, он в трех лицах был един —
Раб сам себе, и господин,
И гражданин — в трех ипостасях!
Еще — ни холодов, ни льдин,
Земля тепла. Красна калина.
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина.
«Должно быть, он примет не знал, —
Народец праздный суесловит. —
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал».
Коль так, Макарыч, — не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй — останься живым!
Но, в слезы мужиков вгоняя,
Ты пулю в животе понес —
Припал к земле, как верный пес.
А рядом куст калины рос.
Калина — красная такая!
Был прост и сложен чародей
Изображения и слова.

В Ленинградском государственном архиве литературы и искусства впервые в подлиннике прочла эти стихи Высоцкого. Раньше во фрагментах или с большими купюрами доводилось слышать или читать отдельные строфы. Но здесь, собранные вместе в единый цикл самим поэтом, они производят неизгладимое впечатление.

И прежде всего, наверное, потому, что остро, почти физически ощущаешь, как хотел, как жаждал Владимир Высоцкий быть прочитанным. Как тщательно, скрупулезно работал он с уже готовым текстом (в архиве хранится наборный экземпляр с авторской правкой): расставлены его четким, лаконичным почерком запятые и тире, кавычки и многоточия.

Да, на это невозможно не обратить внимания. Публицистика живого, горячего человеческого сердца. Нежные стихи о друге, о жене, обо всех нас, о людях.

Светлана Антонова

Любил друзей, жену, детей,
Кино и графа Льва Толстого.
А был бы Разин в этот год!
Натура — где? Онего? Нарочь?
Да, печки-лавочки, Макарыч:
Такой твой парень не живет!
Ты белые стволы берез
Ласкал в киношной гулкой рани, —
Но успокоился всерьез:
Решительней, чем на экране.
Смерть самых лучших намечает —
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!
Не поздоровилось ему:
Не буйствует и не скучает.
Вот, после временной заминки,
Рок процедил через губу:
«Снять со скуластого „табу"
за то, что видел он в гробу
Все панихиды и поминки!
Того — с большой душою в теле
И с тяжким грузом на горбу —
Взять утром тепленьким в постели,
Чтоб не испытывал судьбу!»
И после непременной бани —
Чист, и улыбчив, и тверез —
Вдруг взял да умер он всерьез:
Спокойнее, чем на экране.
Чтоб в грунт разрытый опуская
Средь новодевичьих берез,
Мы выли, друга отпуская
В загул без времени и края...
А рядом куст сирени рос.
Сирень — осенняя такая...

Марине В.

Люблю тебя сейчас
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас.
А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.
В прошедшем «я любил» —
Печальнее могил, —
Все нежное во мне бескрылит и стреножит,
Хотя поэт поэтов говорил:
«„Я вас любил, любовь еще быть может"...»
Так говорят о брошенном, отцветшем —
И в этом жалость есть и снисходительность,
Как к свергнутому с трона королю,
Есть в этом сожаленье об ушедшем
Стремленьи, где утеряна стремительность,
И как бы недоверье к «я люблю».
Люблю тебя теперь
Без меры, без потерь.
Мой век стоит сейчас — Я вен не перережу!

Во время, в продолжение, теперь
Я прошлым не дышу и будущим не брежу,
Приду и вброд и вплавь
К тебе — хоть обезглавь! —
С цепями на ногах и с гирями по пуду,
Ты только по ошибке не заставь,
Чтоб после «я люблю» добавил я, что — «буду».
Есть горечь в этом «буду», как ни странно,
Подделанная подпись, червоточина
И лаз для отступленья про запас,
Бесцветный яд на самом дне стакана
И словно настоящему пощечина —
Сомненье в том, что «я люблю» — сейчас.
Смотрю французский сон
С обилием времен,
Где в будущем — не так, и в прошлом — по-другому.
К позорному столбу я пригвожден,
К барьеру вызван я языковому.
Ах, разность в языках!
Не положенье — крах,
Но выход мы вдвоем поищем и обрящем.
Люблю тебя и в сложных временах —
И в будущем, и в прошлом настоящем!

Из дорожного дневника

1

Ожидание длилось,
А проводы были недолги —
Пожелали друзья:
«В добрый путь! Чтобы все — без помех!»
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
И четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берез
добровольно легли под колеса,
Залоснилось шоссе
И штыком заострилось вдали.
Вечный смертник — комар
разбивался у самого носа,
Лобовое стекло
превращая в картину Дали.
Сколько смелых мазков
на причудливом мертвом покрове,
Сколько серых мозгов
и комарьих раздавленных плевр! —
Вот взорвался один,
до отвала напившийся крови,
Ярко-красным пятном
завершая дорожный шедевр.
И сумбурные мысли,
Лениво стучавшие в темя,
Устремились в пробой —
ну, попробуй-ка, останови!
И в машину ко мне
постучало просительно время —

Я впустил это время,
замешанное на крови.
И сейчас же в кабину
бинты на глазах заглянули
И спросили: «Куда ты?
На запад?
Вертайся назад!»
Я ответить не смог:
по обшивке царапнули пули,
Я услышал: «Ложись!
Берегись!
Проскочили! Бомбят!»
Этот первый налет
оказался не так чтобы очень:
Схоронили кого-то,
прикрыв его кипой газет,
Вышли чьи-то фигуры
назад на шоссе из обочин,
Как лет тридцать спустя —
на машину мою поглазеть.
И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер,
Только — елей стволы —
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.
Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулем:
я давно разомлел до зевоты.
Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?
В кресле рядом с собой
я увидел сержанта пехоты:
«Ишь, трофейная пакость, —
сказал он. — Удобно сидеть».
Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски,
Он опять удивился:
откуда такое в войну?
«Я, браток,— говорит,—
восемь дней как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо. Езжай!
Будет время — опять загляну».
Он ушел на восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
пробилось ко мне сквозь броню:
Это время глядело
единственной женщиной
рядом.
И она мне сказала:
«Устал? Отдохни — я сменю».
Все в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.

Тридцать лет отделяет
    от только что виденных встреч.
Вот забегали щетки —
    отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
    что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
    ничто на войну не похоже.
Только лес — молодой,
    да сквозь снова налипшую грязь
Два огромных штыка
    полоснули морозом по коже
Остриями —
        по-мирному —
            кверху,
    а не накренясь.
Здесь на трассе прямой,
    мне, не знавшему пуль,
        показалось,
Что и я где-то здесь
    довоевывал невдалеке.
Потому для меня
    и шоссе словно штык заострялось
И лохмотия свастик
    болтались на этом штыке.

2. Дороги... дороги...

Ах, дороги узкие —
Вкось, наперерез!
Версты белорусские
С ухабами и без.
Как орехи грецкие,
Щелкаю я их.
Говорят, немецкие —
Гладко, напрямик.
Там, говорят, дороги — ряда по три
И нет дощечек с «Ахтунг!» или «Хальт!»
Ну что же, мы прокатимся, посмотрим,
Понюхаем не порох, а асфальт.
Горочки пологие:
Я их — щелк да щелк!
Но в душе, как в логове,
Затаился волк.
Ату, колеса гончие!
Целюсь под обрез.
С волком этим кончу я
На отметке «Брест».
А там — напьюсь водички из колодца
И покажу отметки в паспортах.
Потом мне пограничник улыбнется,
Узнав, должно быть, — или просто так.
После всякой зауми
(Вроде: «Кто таков?») —
Как взвились шлагбаумы
Вверх до облаков!
Взял товарищ в кителе

Снимок для жены —
И только нас и видели
С нашей стороны!
Я попаду в Париж, в Варшаву, в Ниццу.
Они — рукой подать: наискосок.
Так я впервые пересек границу —
И чьи-то там сомнения пресек.
Ах, дороги скользкие, —
Вот и ваш черед!
Деревеньки польские —
Стрелочки вперед.
Телеги под навесами,
Булыжник — чешуя.
По-польски — ни бельмеса мы:
Ни жена, ни я.
Потосковав о ломте, о стакане,
Затормозили где-то наугад
И я сказал по-русски: «Прошу пани!»
И получилось точно и впопад.
Ах, еда дорожная
Из немногих блюд!
Ем неосторожно я
Все, что подают.
Напоследок — сладкое,
Стало быть: кончай!
И на их хербатку я
Дую, как на чай.
А панночка пощелкала на счетах
(Все как у нас! Зачем туристы врут?) —
И я, прикинув разницу валют,
Ей отсчитал — не помню, сколько злотых —
И проворчал: «По-божески дерут».
Где же песни-здравицы?
Ну-ка, подавай!
Польские красавицы —
Для туристов рай?
Рядом на поляночке —
Души нараспах —
Веселились панночки
С граблями в руках.
«Да, побывала Польша в самом пекле, —
Сказал старик и лошадей распряг. —
Красавицы полячки не поблекли,
А сгинули в немецких лагерях».
Лемехи въедаются
В землю, как каблук, —
Пеплы попадаются
До сих пор под плуг.
Память, вдруг разрытая, —
Не живой укор:
Жизни недожитые —
Для колосьев корм.
В мозгу моем, который вдруг сдавило
Как обручем (но так его, дави!),
Варшавское восстание кровило,
Захлебываясь в собственной крови...



ОТ РЕДАКЦИИ

Повесть «Я ничего не боюсь...» — первое публикуемое литературное произведение двадцатипятилетнего Николая Иовлева. Произведение, которое, как мы ожидаем, породит у читателя желание обдумать, обсудить — и постараться найти возможность разрешения целой россыпи молодежных проблем, отраженных в этой повести. Кто-то, может быть, скажет, что на драматичном пути познания негативных сторон нашего социально-общественного бытия, вызвавших потребность их радикальной перестройки, герой повести Алексей Тулинцев совершает немало наивных ошибок, часто дает окружающим горячие, слишком поспешно высказываемые оценки да и вообще слишком уж безоглядно критичен. Но, во-первых, повесть Николая Иовлева — не должностная инструкция и не руководство к конкретному действию, а, скорее, призыв — прежде всего! — к размышлению, к раздумью. А во-вторых, разве максимализм главного героя не свидетельствует как раз о правдоподобии этого образа?

Тулинцев наделен многими, казалось бы, взаимоисключаемыми чертами характера: он то романтичен — то едва ли не циничен, то упрям в стойкости — то нервно впечатлителен, то воспаленно полусправедлив к своим противникам — то пылко прост в своих монологах.

Суть заключается в том, что когда такие качества соединяются в одном герое, он становится как минимум полнокровным, а его отважная формула борьбы — «Я ничего не боюсь» — убедительной.

Николай Иовлев



ПОВЕСТЬ

Сегодня я опять звонил в комитет комсомола.

Кто я такой, для чего звоню в этот комитет да почему еще и пишу об этом?

Я — Алексей Тулинцев, дворник ленинградского ремонтно-строительного треста, решивший конспектировать избранные моменты своего существования. Прежде этим благородным делом заниматься мне не приходилось, но события, в которые я втягиваюсь последнее время, кажутся мне чрезвычайно занимательными и через три-четыре десятилетия могут представить интерес не только для меня самого, но и для какого-нибудь любопытствующего социолога.

Впрочем, загадывать не стоит. Возможно, вся эта возня вокруг моей переквалификации дальнейшего развития не получит — и графоманский зуд меня минует...

Краткая справочка из «истории болезни» — для социолога.

Моя скромная биография началась двадцать четыре года назад в родильном доме № 1 города Асбеста Свердловской области. Не пожелав зарабатывать к пенсии тяжкую болезнь — асбестоз, родители расстались с Уралом, и в семилетнем возрасте я стал жителем Крымского полуострова.

До шестнадцати лет я находился в состоянии какой-то сонливости, затем пришибла первая любовь — и из меня поперли стихи: целые слюняво-пасторальные поэмы. С ахами и вздохами. Я словно очухался от летаргии. Встряхнулся, напряг свое серое вещество и пошел изводить кудрявым почерком килограммы бумаги.

По окончании первого курса филфака университета у меня отняли пачпорт, вручили военный билет, переодели в казенное — и отправили нести почетную конституционную обязанность. Служение отечеству протекало по системе: «Как надену портупею, — все тупею и тупею». К цивильной жизни я вернулся с очерствевшим чувством прекрасного и окаменевшим умом.

Пока я вычеркивал из жизни два года, моя невеста, не найдя для своего прихотливого вкуса подходящего вуза поблизости, провояжировала в дождливый гранитный Ленинград и стала студенткой. После того, как мне, ефрейтору, была пожалована отставка, я помчался по следам своей невесты на невские берега. Ленинград произвел на меня мощное положительное впечатление — и я решил, что не смогу расстаться с этим городом, хотя он и не резиновый.

То, какими правдами и неправдами я пополнил Ленинград еще одним жителем, — особая история, которая, однако, к делу не относится. Через два хлопотных месяца я приступил к обязанностям дворника при одном из общежитий ремстройтреста, который реконструирует историческую часть города, получил рабскую трехлетнюю прописку и служебную комнату размером чуть больше газетного киоска. В торце комнаты — оконце с видом на тротуар; полуподвал; коммуналка. Кроме нас в квартире — еще несколько семей. «Кроме нас» — потому что вот уже пять лет мы живем в этой горнице втроем с моей женой Надеждой и дочерью Олькой. Надя добила свой ликбез и трудится в проектном институте, я же в совершенстве постиг дворницкое ремесло и с грехом пополам дошкандыбал до шестого курса филфака ЛГУ. С нормальным жильем глухо — что у Нади на работе, что у меня; до 2000 года далеко, и нервно-усталый вид жены в последнее время меня сильно угнетает...

Итак, сегодня я опять звонил в комитет комсомола треста — секретарю Александру Гололапову.

Месяц назад я — после трудового моциона и принятия душа — безмятежно валялся на раскладном кресле, почитывая худлитературу, как вдруг — звонок в прихожей. Я открыл дверь — на пороге стоял этот самый Гололапов. «Алексей Тулинцев здесь живет?» — тактично осведомился он. Я провел его в комнату. Присев, он огляделся и сочувственно покачал головой, поджав нижнюю губу: «Ты один здесь живешь?» — «Втроем. С женой и дочерью». — «Втроем?!» — секретарь был потрясен и замолк. Я же не мог уразуметь, по какому поводу посетил меня столь почетный гость. Комсомолу, вроде, я ничего должен не был, взносы в прошлом месяце заплатил за полгода вперед. Может, комсомольское поручение решили дать?

Гололапов прервал загадочное молчание — и мы погрузились в беседу.

Комсорг собирался в отставку и подыскивал себе замену. Вместе с секретарем парткома они перелопатили документы сорока человек, но все сорок претендентов были отметены по различным причинам. «Необходимо, — говорил Гололапов, — чтобы данные секретаря такой крупной комсомольской организации, как наша, отвечали шести требованиям: первое — мужской пол, второе — русский, третье — высшее образование, четвертое — возраст до двадцати пяти, пятое — рабочая биография, то есть хоть какой-то стаж в должности рабочего, и шестое — чтобы был членом или как минимум кандидатом в члены КПСС. Ты подходишь по пяти пунктам из шести. Ты не член партии. Но это поправимо...»

Гололапов предлагал мне свое место! Я был обескуражен. Четвертый человек в тресте (это, конечно, громко сказано, но тем не менее — член «четырехугольника») пришел к совершенно незнакомому парню, к тому же простому дворнику, и предлагает ему стать комсомольским богом. Я выразил было сомнения вслух, но Гололапов успокоил: «Ерунда. Потом, ты что, постоянно собираешься ошиваться в дворниках? С твоим-то образованием! А куда ты вообще думаешь двигать после универа?»

Я мечтал и, кстати говоря, мечтаю по сей день двинуть в литературные служители, в отдел художественной прозы любой редакции, для начала — каким угодно канцелярским грызуном. Но для того чтобы влезть в любую редакцию, нужна, в общем-то, лапа. Ну, хоть ручонка. Мало того, по существующему советскому законодательству, которое по отношению к себе и своей семье гуманным назвать я не могу, мне ни в коем случае нельзя прерывать трудовых отношений с нашим доблестным трестом, иначе жить придется в подворотне. Обо всем этом я сказал Гололапову.

«Комсомол тебя устроит в любую редакцию, — уверенно заявил он, — не сам, так через партию. Из комсомола все уходят туда, куда захотят. И с жильем дела поправить можно запросто. Понимаешь?»

Я, конечно же, понимал. Вообще, нужно сказать, что я освежаю в памяти лишь те моменты нашего разговора, которые сыграли решающую роль в моем согласии баллотироваться в комсорги, на деле же мы беседовали с Гололаповым часа два. Впечатление о нем у меня вызрело довольно благоприятное: не карьерист, не пижон, не ханжа, не... Словом, отличный парень! Понял, что комсомол не его поприще, что чувствует себя гораздо лучше, работая не с людьми, а с чертежами, — и решил уйти, объяснив начальству в райкоме комсомола и в парткоме треста,



Рисунки Геннадия Ежкова

что в связи с женитьбой намерен переехать на постоянное жительство в другой город. Начальство побрюзжало, но смилостивилось. И вот теперь главная и единственная задача Гололапова — найти себе замену.

«Последним претендентом на мое место был мастер из одного управления. Коммунист, когда-то работягой был, закончил инженерно-строительный. Но Сергеичева, секретарь трестовского парткома, навела справки и выяснилось, что на него в свое время поступали жалобы от соседки по коммуналке. И Сергеичева категорически восстала против этого товарища. Теперь вроде уже всех пересмотрели, вот, на тебе остановились. Ты у нас, так сказать, в резерве был...»

Предложение казалось фантастическим. Но какой-то надоедливый червь сомнения елозил и ковырялся в подкорке. Все это было ни на что не похоже или похоже черт знает на что — на какой-то бред тяжелобольного. И плохо увязывалось с моими представлениями, откуда берутся комсомольские работники. И главное, сам-то я никогда не вел никакой комсомольской работы, исключая, быть может, разовые поручения, какие, ей-богу, не помню! А помимо прочего, по возвращении из армии три года не становился на комсомольский учет. Учетная карточка дезертирски лежала в прикроватной тумбочке, поначалу я все собирался записаться в учтенные комсомольцы, но не знал, где находится комитет комсомола; затем минуло порядочно времени — и мне стало казаться неудобным вливаться в организацию через такой срок, потом я уже просто побаивался этого и постепенно стал забывать о своей принадлежности к Всесоюзному, — как вдруг меня разыскала некая девушка, представившаяся заведующей сектором учета комитета комсомола треста, забравшая у меня карточку и слупившая четырнадцать рублей взносов. За несвоевременную постановку на учет мне обещали вкатать строгий выговор, но не вкатили вообще ничего, даже товарищеской критике не подвергли.

Я поделился этими думами с Гололаповым. «Чепуха! — уверенно заявил он. — О том, что ты не стоял на учете, никто не знает. А взносы твои, конечно, пропили. Тогда, до указа по борьбе с пьянством, в комсомоле здорово пили, не хуже, чем в других всесоюзных организациях». — «Но я же не активист!» — «Это тебе только кажется! По бумагам ты у нас давно уже избран членом бюро ВЛКСМ аппарата треста: полгода — как заместитель секретаря по оргработе», — и Гололапов многозначаще подмигнул мне.

На раздумья я получил десять дней. Думал сам, советовался с друзьями. Контрдоводов не последовало. «За» — единогласно.

Для начала, как объяснил Гололапов, нужно произвести впечатление в парткоме треста и райкоме комсомола, и тогда, ежели все закончится благополучно, — согласования в обкоме, собеседования в горкоме комсомола и райкоме партии. Никогда бы не подумал, что так становятся комсомольскими вожаками. Должность-то выборная! Однако избрать секретаря комитет может только после того, как кандидат в секретари минует всю эту систему согласований и собеседований. Завтра — первые смотрины.

К одиннадцати утра пришли с Гололаповым в партком треста. Напялил для такого случая галстук,— еще не видел ни одного комсомольского работника без галстука: работа с «людями».

В «предбаннике», за столом, заваленным бумагами, сидел заместитель секретаря парткома Иван Юрьевич Архипов. Отнесся ко мне доброжелательно. Задал два-три неназойливых вопроса, с юмором отозвался о совмещении учебы в университете с дворницким профессионализмом, одарил проспектом подписки на газеты и журналы, подытожил: «Вот, значит, где у нас кадры вызревают: в жэке!»

Они заговорили с Гололаповым о каких-то им одним известных вещах. Я сосредоточивался, готовясь к встрече с партлидером. Наконец раскрылась дверь кабинета, вышли люди и обособленно от них — женщина. В отличие от своего заместителя — низкорослого, крупноносого, с галстучищем в полгруди — секретарь парткома стройна при высоком росте, со вкусом одета, достаточно интересна и не будет, пожалуй, преувеличением — обаятельна.

«Сергеичева Полина Ивановна», — представилась она приятным голосом, улыбаясь и протягивая мне руку. Я приподнялся со стула. «А это...» — с задержкой вклинился Гололапов. «А это, я понимаю, Алексей Тулинцев?» Сергеичева толкнула передо мной дверь своего кабинета.

Общались часа полтора. В компании Сергеичевой я чувствовал себя отлично. Вопросы она задавала нетрудные, на некоторые сама же и отвечала. Говорит она великолепно, как по писаному. Несколько, правда, многословно. Помню, отец как-то заметил, что для партийного работника важно уметь говорить о многом и не сказать ни о чем. Правда, сказано сие было о т о м времени, о застойном, но я почувствовал, что в чем-то отцовский афоризм справедлив и для нашей беседы с Сергеичевой — какой-то она получалась неконкретной, бесформенной и расплывчатой. Однако впечатление на меня секретарь произвела благостное: приятный человек, или, обворовывая Николая Васильевича, женщина, приятная во всех отношениях.

Вечером заскочил Гололапов: собеседование в парткоме прошло едва ли не блестяще, Сергеичевой я тоже понравился.

А сегодня Гололапов водил меня в райком комсомола — Дворцовый.

Комсомольская организация нашего треста имеет права райкома — есть, оказывается, такие права. Всего в районе с подобными правами пять организаций. Понятно, поэтому, что возглавлять такую организацию эдакого района должен человек достойный. И все же мне кажется чрезвычайно странным, что человека подбирают по анкете, и прежде, чем быть избранным, претендент должен пройти целую лестницу инстанций по согласованиям и собеседованиям. Ну, посмотрят там, как я вообще — фотогеничен ли, есть ли масло в голове и так далее, — но ведь и комсомольцы, если дать им возможность избрать секретаря самостоятельно, выберут не какого-нибудь олуха, а того, кто им нужен: лидера, лучшего из лучших, хотя, возможно, у него будет только среднее образование. А тут выходит, что готовят к избранию не человека, а его анкетные данные (а ну, как по ним я неплох, а секретарем буду дерьмовым?). И ладно, если бы подобное происходило в преданную анафеме эпоху спячки, — так ведь это свершается ныне, на исходе второго года перестройки!

Я немного струхнул, когда очутился в райкоме, но виду старался не подавать.

В кабинете было жутко накурено, за столом говорил по телефону молодой человек, из-за стены хлобыстнул залп хохота. «Инструктор райкома комсомола Ежевикин Владимир», — назвался парень, протягивая мне руку, жестом предлагая стул и придвигая сигаретную пачку. Курить хотелось, но я воздержался.

Это был второй виток спирали собеседований. Через двадцать минут я понял, что инструктору нравится моя персона по всем позициям, кроме одной — должности дворника, — но и ее он готов был мне простить, так как я — филолог, а все филологи, как он полагает, мировые ребята. «У меня, в общем-то, все, — сказал Ежевикин. — Теперь напиши автобиографию и анкету для личного дела. В двух экземплярах. Кочетов посмотрит, и потом — к нему...» Он дал мне бумагу, анкетные бланки, я стал трудиться, а комсомольские вожаки ушли пить кофе в буфет. Усердствуя над почерком, дважды набросал автобио и заполнил анкету — в ней, помимо всего прочего, следовало отразить данные о родителях: кем они работали на момент моего рождения и кем работают сейчас, наличие связей с родственниками за границей, судимости, наказания и пр.

Через полчаса явились вожаки, закурили. Ежевикин «сел на телефон» и принялся накручивать диск. Гололапов листал какую-то брошюру. Наконец я закончил свой ответственный труд. Ежевикин проверил его и пошел к Кочетову. Это — заведующий орготделом райкома. Он —

третий виток спирали. Я его еще не видел, но фамилию эту произносят с заметным почтением.

Вернувшись минут через десять, Ежевикин сказал: «Кочетов злой, как сто китайцев. Приходи лучше завтра...»

Вчера принять меня Кочетов не смог — принял сегодня. Под тридцать либо все тридцать. Большелобый, светловолосый. Нижняя челюсть сильно выпячена. Тонкие губы, маленький рот. Часто курит. Гололапов и инструкторы обращаются к нему по отчеству — «Василий Михайлович». Посмотрев на меня с натужной улыбкой, Василий Михайлович спросил: «Ну так что, Алексей, комсомольская работа по душе? — и, оценив кивок, продолжал: — Тогда давай рассказывай, чем думаешь заняться в первую очередь, как станешь секретарем, какое направление работы выберешь приоритетным?». «Производственную деятельность», — сдуру брякнул я первое, что после некоторого замешательства пришло в голову. «Ну что ж, неплохо», — одобрил заворг. Задав еще несколько вопросов, ответы на которые я давал уже более осмысленно, Кочетов предложил мне принести обойму фотокарточек пять на шесть и предоставил возможность покинуть кабинет.

Днем зашел Гололапов. Сказал, что Полине Ивановне звонил Демидов, первый секретарь райкома комсомола. Моя кандидатура не пройдет: во-первых, я — дворник, а это сильно портит анкету; а во-вторых, я — не коммунист и даже не кандидат в члены партии, и это — самый существенный недостаток моей анкеты, не восполнимый прочими достоинствами. Демидов предложил поискать на должность секретаря кого-нибудь другого. Однако Сергеичева в категорической форме заявила, что ее моя кандидатура устраивает вполне и никто другой ей не нужен. (Тут Гололапов напомнил, что претендентов на его должность в тресте нет, я — последний.) «Хотя черт их знает, они все могут!.. Могут и со стороны человека сунуть: место выгодно как трамплин. У них это называется кооптирование. Так у нас недавно и было — с Амохиным, что до меня секретарем сидел...» И Гололапов рассказал, как кооптировали Амохина.

До этой самой кооптации нашу комсомольскую организацию возглавляла Лариса Великанова; ей перевалило за тридцать, но уходить она не спешила, забыв об одном маленьком, но крайне важном моменте: деньги освобожденный комсорг получает не в организации, которой руководит, а в райкоме. Поэтому однажды на заседание комитета комсомола прикатили на черной «Волге» первый секретарь райкома комсомола Демидов и Александр Амохин, комсорг одного из объединений. Три часа Демидов напирал на членов комитета, уговаривая переизбрать Ларису, и хотя Лариса всем нравилась и никто мысли не мог допу-

стить о ее переизбрании, ее все же переизбрали — и кооптировали Амохина. Кто-то, что называется, хорошо этого Амохина «толкал», потому что в дальнейшем он перешел на работу в горком ВЛКСМ — инструктором, а короткое время спустя занял там должность заведующего общим отделом. Нашу организацию, совмещающую в себе первичку и райком, он использовал как промежуточное звено, так необходимое для анкеты.

Уходя, Гололапов обнадежил: «Ничего, Полина варяга не возьмет. Хватит с нее Амохина...»

Побывал на совещании трестовских комсоргов, поприсутствовал и на заседании комитета ВЛКСМ треста, он занимает отдельное помещение, большое и удобное. Имеются здесь зал для заседаний на двести мест, радиоузел, различные подсобки, даже, черт возьми, туалет и гардероб, а также кабинет секретаря с Т-образным столом и комната сектора учета, которым заведует розовощекая улыбчивая Римма Расчеткина. Должность у нее освобожденная, как и у Тани Рачковой, секретаря бюро девятого управления: у нее самая крупная организация — за триста человек. Всего же под началом комитета состоит одиннадцать комсомольских организаций с правами первичных. Каждый вторник поутру проводятся совещания секретарей — в этот день они освобождены от основной производственной работы Раз в две недели заседает комитет.

Совещались, как я понял, о членских взносах: поджимают сроки сдачи в райком, а еще не все организации отчитались перед комитетом. На заседании комитета опять фигурировали взносы, но на этот раз, слава богу, не только они одни. Основной вопрос был о проведении отчетно-выборной комсомольской конференции треста. Мероприятие это, как мне растолковали, незаурядное, проводится раз в три года и готовятся к нему уже давно. Я буду участвовать в работе мандатной комиссии. Не понравилось мне, как говорил на заседании Гололапов: избрал какой-то просительный тон, словно умоляя присутствующих не затыкать ему рот хоть несколько минут и, если это только возможно, пожертвовать еще некоторой частью своего драгоценного времени для пользы общественности. «Товарищи, — торопился он, — «Комсомольскому прожектору» хватит раскачиваться, пора начинать действовать. Предлагаю провести рейд по выявлению нарушителей трудовой дисциплины в общежитии на Автовской. Не будет возражений?» Возражений не было. Все понимали необходимость борьбы с прогульщиками, но минут пятнадцать торговались, кому и когда выходить в рейд. Странный, конечно, стиль работы. Я во всем этом новичок, но работу «КП» представлял себе несколько иначе есть штаб «КП» треста, есть линейные посты в первич-

ках; у них, вероятно, должен быть план работы или график рейдов, не знаю, что именно, — так вот пусть в соответствии с этими планами-графиками бурлит работа по выявлению прогульщиков и бесхозяйственности. Ну, а на заседании комитета, наверно, интересно иногда послушать председателя главных сил «Прожектора» или кого там еще об успехах борьбы. Зачем же членам комитета отнимать чужой хлеб?

Совершенно неожиданно для самого себя совершил ответственный, если не сказать — наиответственнейший шаг, сколь прекрасный, столь же и ужасный: написал заявление о приеме кандидатом в члены КПСС.

Произошло это так. Гололапов, которому я позвонил утром, передал просьбу Ивана Юрьевича Архипова, зама парторга, прийти к нему в час дня. Пришел. Иван Юрьевич поздоровался со мной за руку, щелкнул зажигалкой, закуривая, выпустил струйку дыма и сказал: «Тэк-с...» Мы перекинулись двумя фразами, после чего Иван Юрьевич достал из стола несколько чистых листов бумаги и протянул их мне: «Иди, пиши заявление». — «Какое заявление?» — «Заявление на прием в кандидаты». Я содрогнулся от догадки: «В партию?» — «Ну да. Образцы у секретарши». Архипов провел меня в зал заседаний парткома, усадил за длиннющий полированный стол и поставил передо мной нечто вроде книги: аккуратные листы плексигласа, перекидывающиеся на бронзовой оси, внутри которых — образцы документов, памятка вступающему кандидатом и в члены КПСС. «Напишешь заявление и биографию по образцу», — Иван Юрьевич улыбнулся, обнажив светло-коричневые прокуренные зубы, и ушел. Я полистал плексигласовую книжицу и призадумался.

Что это? Подгон под анкету? Или, может быть, закабаление? Гололапов говорил, что коммунисту бывает сложно уйти с номенклатурной должности, если его уход не совпадает с планами вышестоящих органов. По закону любой человек может уйти с любой работы максимум в двухмесячный срок. Любой, но не номенклатурный партработник: у этого служебные обязанности переплетены с партийными, и, кроме КЗОТА, он подчинен партийной дисциплине. Если откровенно, то я, конечно, мечтал о вступлении в КПСС. Ну, мечтал, пожалуй, не то слово; скажем так: не раз задумывался. В армии многие вступали в партию, объясняя это тем, что вступить в армии намного проще, чем на «гражданке». Солдаты южных кровей вступали активнее прочих: у них на родине, по их разъяснениям, эта акция обложена тарифом в пять — десять тысяч рублей. Но мне не хотелось, чтоб проще. Хотелось, чтоб по убеждениям. Чтобы не мне нужна была партия, а я ей был нужен. Вот, думал, буду работать где-нибудь в горячем месте — где не

быть коммунистом просто стыдно — и подам заявление. Работа дворником была, понятно, не самым горячим местом. Неловко было даже думать: дворник с без пяти минут высшим образованием лезет в партию. Понятно ведь, что карьерист.

А вот теперь мне — как бы это сказать помягче? — предложили, что ли. Странно.

И я написал, сдувая с образца: «В партийную организацию... Заявление. Прошу принять меня кандидатом в члены КПСС. С Программой и Уставом КПСС ознакомился, полностью признаю и обязуюсь честно и добросовестно выполнять все их требования. Обещаю быть в первых рядах строителей коммунистического общества в нашей стране, все свои силы, знания и способности всегда безраздельно буду отдавать делу Ленинской Коммунистической партии Советского Союза». Интересно, во всех партийных организациях страны заявления пишут по шаблону или только в нашей? И почему — если все обещают быть в первых рядах и безраздельно отдавать все свои силы партии — страна наша так захирела?..

А сегодня Архипов опять вызвал меня в партком и, извинившись, попросил сызнова переписать заявление и автобио: в запарке и закрутке он совсем забыл, что их нужно писать фиолетовыми чернилами, а не шариковой ручкой. Порекомендовав приобрести в магазине Устав и Программу партии, Иван Юрьевич вручил мне вопросник для подготовки к парткомиссии: восемь листов машинописного текста (вопрос — ответ, вопрос — ответ). По словам Ивана Юрьевича, эта шпаргалка включает вопросы, задаваемые на парткомиссии, — по опыту прежних лет. Периодически текст освежают последними политическими событиями. На мой взгляд, вся эта петрушка находится в противоречии со здравым рассудком.

Вновь побывал в парткоме.

Полина Ивановна о моем заявлении сначала и словом не обмолвилась. Поговорили не помню о чем, она набрала телефонный номер и сказала кому-то: «Евгений Максимович еще не пришел? Как появится, пусть заглянет на минутку в партком. Ну ладненько». Мне она сообщила: «Придет секретарь партбюро аппарата треста Зубрищев — я вас познакомлю. И надо тебе двух рекомендующих для вступления. Найдем...» Из Устава партии мне уже известно, что рекомендующие должны знать кандидата в кандидаты не менее года по совместной производственной работе. Ни одного знакомого коммуниста в аппарате треста у меня нет. Обуреваемый этими сомнениями, я поделился ими. «Ничего, — утешила Сергеичева.—Одну рекомендацию тебе, наверное, даст Макушкина, воспитатель с Автовской, а вторую... Посмотрим, может быть, даже Ивана Михайловича

попросим». — «А кто такой Иван Михайлович?» — «Ты не знаешь? Компотов. Замуправляющего».

Дверь отворилась, и в кабинет без спроса вошел, если не сказать ввалился, гражданин возрастом под пятьдесят. Из-под нахлобученной на брови шляпы ниспадали побитые сединой волосы. «Здравствуйте, Полина Ивановна, — тягуче произнес он, засунув руки в карманы плаща, оперевшись спиной и затылком о стену и уставив на Сергеичеву из-под шляпы пристальный немигающий взгляд. — Мне передали, что вы хотели со мной повидаться». — «Да, Евгений Максимович, я просила вас зайти. Знакомьтесь, это Алексей Тулинцев».

Зубрищев не шелохнулся. «Алексей, — продолжала Сергеичева, — наш будущий секретарь комитета комсомола. Работает в жэке дворником, но учится на шестом курсе университета. Нам нужно принять его кандидатом». — «Полина Ивановна, но почему для того, чтобы руководить комсомольской организацией, надо обязательно вступать в партию? Неужели нельзя оставаться простым комсомольцем?»

Судя по тому, как спокойно вела себя Полина Ивановна, она привыкла к амбициозности секретаря партбюро. Но с какой стати Зубрищев покушается на авторитет своего партийного шефа? Да еще и в присутствии постороннего, в будущем, возможно, — секретаря комитета комсомола. В конце концов, он мужчина. Какого дьявола он приволокся сюда в плаще, не сняв даже шляпу, держит руки в карманах, не говоря уже о его разговорных манерах?

Сегодня мне подыскивали рекомендующих. Пришел в партком к двум часам, как велела Сергеичева. Минутой позже в кабинет вошла Макушкина, воспитательница общежития. Полина Ивановна отрекомендовала меня в качестве будущего секретаря трестовского комитета и, похвалив со всех сторон, объяснила Макушкиной, что мне нужна рекомендация для вступления в кандидаты. На лицо Макушкиной легла безысходная печаль. Полина Ивановна, видя, что Макушкина не готова оказать эту маленькую услугу, мастерски натренированным языком повела осаду, продолжавшуюся полчаса. Я сидел словно оплеванный. Полина Ивановна ни разу не остановилась для передышки. Макушкина принципиально и наотрез отказала в даче рекомендации совершенно незнакомому человеку и ушла не попрощавшись. Шея Сергеичевой покрылась краснотой. Я, как мне показалось, покраснел с ног до головы. «Бывают же люди! — сетовала Сергеичева. — Упрутся как бараны!.. Подожди, сейчас найду я тебе крестницу...» Она сняла трубку, набрала три цифры. Через пять минут явилась молодая женщина с теплым взглядом за очками, без кос-

метики и обычного — пусть и незначительного, почти неуловимого, но присущего всем женщинам кокетства. С Любой Тарковой обошлось проще: хватило десятой доли потраченного на Макушкину.

«Ну, а вторую рекомендацию даст Иван Юрьевич Архипов, — постановила Сергеичева. — Уж он не откажет». Полина Ивановна улыбнулась своей милой улыбкой — и мне пуще прежнего захотелось служить этой женщине верой и правдой за все, что она для меня делает.

Совершил экскурсию по Дворцовому райкому партии. Первые два этажа занимает исполком, а райком партии располагается этажом выше.

«Чтобы удобнее было контролировать», — улыбнулся Архипов. Что контролировать? Работу исполкома? А разве там сидят беспартийные? Выходит, коммунисты контролируют коммунистов?

Коридоры райкома в коврах, зигзагообразные — заблудиться можно, пол отлакирован — хоть на коньках катайся. У входа на этаж милицейский пост. С Архиповым милиционер поздоровался. Знает, пропустил. А кого он, собственно, охраняет? Избранников партии? Слуг народа? А от кого? От того же народа?

Инструктора по группе строек на месте не было, придется беседовать с ним в следующий раз. Заполнил анкету. Строго — только фиолетовыми чернилами! И опять: национальность, образование, занятие родителей в настоящее время... Имеете ли ученую степень, звание? Какие имеете почетные звания и правительственные награды? Являетесь ли ударником коммунистического труда? Состояли ли в братских компартиях? За границей жили? Где, когда, цель пребывания? Кто из родственников живет за границей? Чем занимаются? Ну, не имею, не являюсь, не состоял, не жил. Ну, что дальше? А если бы имел, тогда что? И пошла писать губерния!

Во второй половине дня, как договаривались, пришел к Сергеичевой. Повела меня на согласование к управляющему трестом, Сидорову Алексею Анатольевичу. Мельком я видел его и раньше, но сегодня разглядел в подробностях. Лет сорока пяти, похож на Бельмондо, только без его патологических морщин на лбу и с менее демократичной улыбчивостью — не до самых ушей. Его предшественник, говорят, был самым настоящим хамлом, на всех орал и мог даже влепить затрещину. С дипломатичным Сидоровым, бывшим работником горкома партии, разговаривают без сердечных замираний в ожидании оплеухи. Правда, вот уже третий год Сидоров управляющим — и все это время трест заваливает план.

Поинтересовался моими видами на будущее. Полина Ивановна ответила за меня: «Перспектива номер один —

отработать секретарем комитета комсомола три года, а там посмотрим... В среду партсобрание, Алексея мы принимаем в кандидаты, и, видимо, Алексей Анатольевич, придется перевести его на работу в какое-нибудь РСУ. Дворник — это, конечно, не то. Горком комсомола зарубит».— «Что ж, будем думать»,— вздохнул Сидоров...

Стал больше читать подковывающей литературы. По-прежнему очень много трескотни, фанфарных завываний и всяческих призывов. А ведь главное — это чтобы все наконец поняли: призывы к перестройке — еще не перестройка. Я пока ни одного человека из своих друзей и знакомых не встретил, который сказал бы, что у них на предприятии не то чтобы перестроились, а хотя бы начали перестраиваться. Всякий порядочный человек должен, засучив рукава, вступить в драку за каждую строчку партийных решений. Не кто-то где-то, а я, ты, все мы. Бюрократам, копушам, хамелеонам, ретроградам — бой! Новые свежие силы на смену! И — за работу, товарищи! Иначе перестройка зачахнет. Она, бедная, и так похожа на футбольный матч: горстка народу суетится, носится по полю, а десятки тысяч на трибунах и миллионы по телевидению только смотрят, обсуждают, сучат ногами и требуют результата.

На днях — отчетно-выборная конференция трестовской комсомольской организации. Бедняга Гололапов совсем замотался: то его в райком дернут, то к нему из райкома нагрянут. Над бумагами колдует даже ночами. Готовится конференция строго по инструкции: боятся, как бы на незыблемые формы проведения конференций не было совершено посягания, она должна быть если не образцово-показательной, то по крайней мере стандартно-штампованной. Ни шагу в сторону от проторенных тропинок! Отчетный доклад все время требуют в райком, перекраивают: то убрать что-то нужно, то добавить. И Гололапов исправляет, добавляет, убирает. Спрашиваю у него: а что, если во время чтения доклада в зале погаснет свет?

Начало грандмероприятия запланировано на одиннадцать часов. К девяти подтянулись организаторы, в десять сорок припорхали первые ласточки из числа актива. Мы с Риммой Расчеткиной представляем мандатную комиссию — регистрируем входящих, зачеркивая номера их временных удостоверений в огромной таблице. Делегаты подтягиваются недобросовестно. Явился Пашков, секретарь райкома, интересуется, сколько уже человек. Пятьдесят с небольшим. А избрано двести восемьдесят. В Уставе комсомола не сказано, при каком числе делегатов конференция считается правомочной, но, понятно, при явке менее половины делегатов вопрос о проведении конференции отпадает. При-

шел Володя Ежевикин. Принесло и работницу горкома: белокурая, стройная, синеглазая. Анкетные данные, должно быть,— рухнешь от зависти. Курит с Пашковым у входа. Пришли Сергеичева и Сидоров. На Гололапове белоснежная рубашка, он без конца курит и носится взад-вперед. Без десяти одиннадцать. Подсчитываем не предавших. Сто два человека. Зачеркиваем по просьбе Гололапова еще десять номеров. Без трех одиннадцать. Народу сто восемнадцать человек, десять из которых липовые. Сидоров с Гололаповым и Сергеичевой совещаются о чем-то в углу. Один из комсомольцев надевает куртку и быстро уходит. Сегодня суббота, но на некоторых объектах кипит работа. Управляющий послал за людьми — для кворума. Десять минут двенадцатого. Зачеркиваем по просьбе Гололапова еще несколько цифр. Много нельзя, будет заметно несоответствие. Полномочный посол является в одиночестве. Ставим кресты еще на пять номеров. Сто сорок один вместе с мертвыми душами. Больше половины на одного человека. Очевидная подставка. Горкомовская в сопровождении Пашкова подходит к дверям зала, смотрит, сколько собралось народу, идет к нам, интересуется цифрами, недоверчиво качает головой. Пашков ведет напористую обработку. Наконец горкомовская сломлена, все входят в зал, закрывая за собой двери. Вообще-то, мне не мешало бы поприсутствовать в зале, я на подобных мероприятиях не был ни разу, надо постигать, впитывать. Черт его знает, для чего Саша сунул меня в эту мандатную комиссию — считать, сколько человек избирается делегатами на конференцию первый раз, а сколько не первый. Истомившись от безделья, иногда подхожу к двери, ведущей в зал, и прижимаюсь щекой к лакированному дереву. В щель кое-что видно. Сильные минуты. Слышны обрывки речи, из которых нельзя уловить даже общего смысла. Когда во втором отделении начинаются выборы в состав комитета комсомола, нас с Риммой зовут в зал. Мы в списке. Но по инструкции голосуют не списком. Персонально! Названный встает, председательствующий предлагает задавать ему вопросы. Вопросов нет. Человек садится, за него голосуют — единогласно — и выкликают следующего. Выбрали и меня, и Римму, и еще тринадцать человек. Правда, проскочил небольшой ляп. Одна из названных не поднялась. Ее не было среди собравшихся, она не пришла. А ведь предупреждали двадцать раз! Человеку оказали доверие, внесли в список, согласовали, а она не пришла. «Вносите другие предложения! — не растерялся Гололапов, хотя и не был председательствующим. — Давайте вашу кандидатуру». И получилось, что все предложенные ранее кандидатуры были не «ваши», а как бы «наши». Наступила гробовая тишина. Комсомольцы не привыкли выбирать вожаков самостоятельно. «Давайте, ребята, активнее, давай-

те!» — призвал Пашков. «Курдиев!» — крикнул кто-то с галерки, как мне показалось, с издевкой — и тишина возобновилась. Председательствующий растерялся. Он следовал четко отработанному сценарию конференции и теперь сбился. Выручил Гололапов. «Товарищи, поступило предложение избрать в комитет комсомола Курдиева Али Богадиновича, секретаря бюро ВЛКСМ седьмого управления». Курдиев поднялся. Гололапов ненавидит его тихой, но лютой ненавистью. По его словам, Курдиев давно уже сел ему на шею и не делает абсолютно ничего, даже взносы и то все время заваливает. Но возникшая ситуация требует спасения. И потом Гололапов уходит и ему Курдиев до лампочки. «Есть вопросы к товарищу Курдиеву? Отводы? Самоотвод?..» «Я буду голосовать против»,— шепчет мне Римма. Но она не голосует против, она вообще не голосует. Курдиева избирают единогласно.

На организационном заседании комитета выступил Пашков. Поздравил с избранием в коллегиальный орган, пожелал успехов в работе и, что называется, порекомендовал в секретари Гололапова. Все это мне известно. Мне известно также, что я буду избран заместителем Гололапова по оргработе. Для анкеты. Единогласно.

Дело продвигается через пень-колоду. Сегодня меня приняли в кандидаты. Правда, с оглушительным скрипом.

Перед собранием пытали на партбюро аппарата. Зубрищев и еще четверо о чем-то мило, по-домашнему разговаривали в тесном кабинетике, а когда появился я, замолчали. Мне предложили стул, и, представив меня, Зубрищев с чрезвычайно усталым видом задал первый вопрос: «Итак, молодой человек, для чего вы вступаете в КПСС?». Я растерялся. Зубрищев вонзил в меня острый взгляд: «Молодой человек, этот вопрос вам могут задать где угодно. Это дежурный вопрос. Отвечайте, пожалуйста».

Я промычал что-то насчет первых рядов строителей коммунизма. Воцарилась тишина.

«А как вы зарекомендовали себя на рабочем месте?» — резко спросила Макушкина, та самая, что отказала мне в рекомендации. «Да вроде... ничего...» — «Ничего? А вот у меня есть сведения, что не очень-то ничего».

Отстаивать безукоризненность своей трудовой биографии на посту дворника было, конечно нелепо. За четыре года случалось всякое. Бывало, в дни обильных снегопадов, когда сугробы напластовывались чуть не до пояса, я, вырубившись с вечера так, что не мог поднести ко рту ложку с супом, чтобы в ней хоть что-нибудь осталось, спал поутру крепчайшим сном пожарного, в то время как за ночь опять наваливало. Дворники на соседних территориях получали по сто сорок рублей и зимой им подсоблял механизатор на тракторе со скребком-ножищем, я же имел семь-

десят, и мой грешный труд не могли механизировать даже примитивной снегоуборочной лопатой, этот дефицитный инструмент я вынужден был доставать сам. За четыре года я не взял ни одного учебного отпуска, хотя мог взять аж восемь — продолжительностью до месяца каждый, со стопроцентной оплатой. Не взял, прекрасно понимая, что замены мне нет — незаменимый я человек! — и не стремясь поставить свое начальство в трудное положение. Можно было с большой сноровкой рассказать и об этом, и о многом другом, но вначале я замешкался, а после уже не захотел. Не захотел мельчить.

Последним заговорил Зубрищев. Я уже понял, что этот человек артист по натуре и ценит минуты, когда внимание окружающих обращено на него. Трудно было до конца постичь обнародованную им речь, истина в ней была как бы окутана густыми клубами дыма. «Предлагаю поставить вопрос на голосование,— завершил он.— Нет других предложений? Тогда кто за то, чтобы принять товарища Тулинцева кандидатом в члены КПСС? Прошу голосовать» Не проголосовала одна Макушкина. Вернее, проголосовала «против».

Собранием дирижировал Зубрищев — так же небуднично и чрезвычайно нравясь самому себе. Я сидел в последнем ряду и не без тревоги поглядывал на затылки коммунистов. Доложив собранию результаты голосования на бюро, Зубрищев предложил мне выйти вперед. Кто-то попросил рассказать биографию. Рассказал. Кто-то поинтересовался семейным положением. И снизошла тишина. «Не угодно ли,—спросил Зубрищев,—заслушать рекомендации?» Сочли необходимым. В рекомендации Тарковой личность моя особых примет была лишена, зато в рекомендации Архипова... У меня до сих пор воспалена совесть. Помимо того, что я морально чист и незапятнан, словно какой-то продезинфицированный человеческий саженец, кроме того, что я беззаветный борец за чистоту своего участка и чистоту нравов, я, как явствовало из утверждений Ивана Юрьевича, еще и неугомонный общественник. Пропагандист-политинформатор в общежитии на Можайской, член ДНД, организатор многочисленных спортивных и культурно-массовых мероприятий, член бюро ВЛКСМ аппарата треста и еще бог знает кто — всего не запомнил. Едва Зубрищев умолк, последовали вопросы: действительно ли я член ДНД? а когда я последний раз проводил политзанятия на Можайской? На все вопросы я отвечал честно: нет, не организатор, не член, не пропагандист. Вопросы сыпались из одного и того же угла, где находилась Макушкина — режиссер, окруженная жэковскими, занятыми в эпизодических ролях. Последовал вопрос к Архипову: почему в рекомендации отражены несуществующие достоинства претендента в кандидаты? Иван Юрьевич, большой человек ма-

ленького роста, поднялся и со свойственными ему негромкостями и длиннотами начал оправдываться. Его усадили с раздражением. Встал главный инженер треста Марчук и коршуном кинулся не на меня, а на предмет моего приема: почему-де нужно тащить в партию совершенно незнакомого человека, о котором еще и не совсем хорошо отзываются жэковские? Уж они-то его, конечно, знают. К слову сказать, группировка Макушкиной бузила по непонятным мне причинам, никто из нападающих не знал меня, как и я никого из них не знал, ну, может, видел раза по два. Мне даже почудилось, что вопрос поставлен так остро не из-за неприязни ко мне и моему трудовому прошлому, а в противовес позиции Сергеичевой. И тут поднялась Полина Ивановна. Говорила она для такого повода долго, минут пятнадцать. В ее экспромте было много всего, и все это было выстроено в великолепную образцово-показательную пирамиду ораторского искусства. Я слушал, затаив дыхание. Положение спасалось на глазах. Из двадцати пяти коммунистов за прием проголосовало шестнадцать человек, против — шесть и воздержалось трое. Против были Марчук и группировка Макушкиной.

Вчера Сергеичева прокачивала мой вопрос с первым секретарем РК ВЛКСМ Демидовым. Я уже кандидат — стаж исчисляется с момента принятия решения первичной организацией, хотя еще и предстоят различные хлопоты в райкоме партии — а значит, пора мою анкету засылать в горком комсомола. Демидов порадовался за меня, как за состоявшегося кандидата, но сказал, что с малославным дворницким прошлым горком меня не воспримет. И прямо при мне Полина Ивановна связалась с восьмым управлением. Начальник согласился взять меня временно «на подвес», то есть, как объяснила мне Сергеичева, числиться я буду в «восьмерке», а работать, может быть, нигде не буду — буду стажироваться в комитете комсомола.

Вооружившись адресом управления, поехал туда. Напечатали мне в отделе кадров ходатайство о переводе из аппарата на должность транспортного рабочего второго разряда — и я как на крыльях полетел в трест. Нацарапал заявление об увольнении по переводу, получил резолюцию начальника жэка и — за резолюцией управляющего. Не тут-то было. Секретарша посмотрела на мой листок поверх очков. «Так просто это не делается, молодой человек». И положила его на толстую бумажную кучу.

Иван Юрьевич между делом завербовал меня в подписчики: подписная кампания в разгаре, и он как раз возился с абонементами, когда я вошел: «Алексей, ты уже подписался на «Правду»? Коммунисты и кандидаты обязаны ее выписывать, это партийная газета. Подписывайся...»

Сегодня — только через четыре дня! — мое заявление подписано. Секретарша ли это такая инициативная, либо действительно все делается именно так — четыре дня нужно, чтобы махнуть в течение двух секунд ручкой,— не знаю.

Аж через две недели головомороченья мне вручили лист бумаги и предложили написать заявление о приеме на работу. До вечера ждал начальника управления. Он подписал, но предупредил, что просто так деньги платить не будет — придется мне быть транспортным рабочим не только на бумаге, но и на объекте.

Да, не просто пробиться в номенклатурные работники!

Получил ратно-трудовое крещение. Работягой! Настоящим. Вкупе с его величеством рабочим классом. Первый в моей недолгой жизни трудовой бал.

Начальник участка спросил: «Что умеешь делать?» — «Ничего».— «Совсем ничего?» — «Совсем». Начальник ничуть не удивился. Крикнул в коридор: «Петро! Возьми вот этого! — и мне добавил: — Иди со сварщиком».

Сварщик Петро — человек физического труда лет сорока пяти. С обтрепанным ветром лицом и руками-клешнями. Наши спецовки контрастируют: его брезентуха пообносилась и пообтерлась, а на моих ярко-оранжевых штанах маячат поперек колен складки. Неловко было идти по Измайловскому проспекту в окружении прохожих, хотя, конечно, никому до моего нового наряда дела не было. В пазухах каски свистел ветер. Возле Троицкого собора Петро глянул на меня сзади, придержал за плечо и оборвал этикетку, болтавшуюся на вылезшей из-под воротника тесемке. Представляю, как я зарделся.

Пришли во двор какой-то организации. Перед воротами, у домика, где располагается контрольно-пропускная служба, а попросту говоря — бабуська с повязкой на рукаве, отваливается стена, и задача, поставленная перед нами, — не дать ей отвалиться; по периметру стенки нужно наварить раму из железной полосы и пустить полосу вдоль и поперек рамы — в клеточку.

Петро притащил откуда-то лестницу, ящик с инструментом — и полез наверх, очищать от штукатурки идущий по верхнему обрезу домика стальной уголок, чтобы приварить к нему раму. Я держал лестницу, чтобы Петро не грохнулся, — и с первыми ударами молотка мне за шиворот полетели осколки штукатурки.

Петро работает без перекуров, со сноровкой и быстро — любо-дорого посмотреть. Потом, в раздевалке, я узнал, что для него это задание — халтурка, шабашка, и ему за нее прилично заплатят. В этом же дворе прилаживал двери плотник (или столяр?) нашего управления. Его задание,

видно, не шабашка — и потому он только ходил руки в брюки, покуривал папироски и отвлекал Петра от дела. «Петруха, пошли — бахнем!» — «Не, не хочу».— «Да иди ты, давай!» — «Не».— «Брось ломаться, пошли!» — «Ну сказано тебе не хочу, значит, не хочу!» Плотник-столяр безнадежно махнул рукой, поглядев на меня, еще раз махнул рукой и направился восвояси.

В раздевалку вернулись в полпятого. Рабочий день до пяти, но она уже битком. Сквернословие изощренное. По крайней мере половина из переодевавшихся «под балдой». Похоже, тут никто указ о борьбе с пьяницами не чтит. Или, может, рабочему выдана особая индульгенция на нарушение закона?

Первый час ночи. Я, дурень, хоть и знал, что нельзя смотреть на сварочные искры, несколько раз все же глянул. Теперь в глазах темные пятна. Пора на сегодня заканчивать эти бессмертные страницы. Спокойной ночи, товарищ гегемон.

Рабочий день начинается в семь сорок семь: тринадцать минут месяцами набегают в целый день — чтобы закрыть «черную» субботу. Однако даже в восемь часов строители еще делятся новостями минувшей ночи. И только в начале девятого, вразвалку, пошаркивая сапогами и кирзовыми «гадами», все направляются в прорабскую.

Я иду опять вместе с Петром. Нынче мы должны сделать на полуметровой глубине возле трансформаторной будки контур заземления из стальной полосы и уголка. Еще темно. К будке, урча, подъезжает «Беларусь». Общаемся с трактористом. Понемногу светает. Пришли мастер и начальник участка с чертежом будущего контурного заземления. Рассуждая, как лучше сделать разметку, они спорят, перебивают друг друга. Наконец начальник вручает чертеж сварщику: «На, Петро, не маленький — разберешься»,— и, видя, что Петро, злобно сплюнув под ноги, отходит, обращается к нам с экскаваторщиком: «Ну, значит, нате вы, ребята».— «Ково нате! — бунтарствует механизатор.— На хрена оно мне надо!» И он забирается в кабину своего железного коня, хлопая дверцей. «От какие все, падла, нервные! — взбеленяется начальник.— На! — сует он мне чертеж.— Разметите и — вперед!» Я оцепеневаю: «Да я... не умею».— «Да чего тут уметь-то, чего?! Вот, берешь чертеж, смотришь. Так, смотришь. Тут же все как на ладони. Здесь вот, по краям, пустите уголок и по центру пустите, через каждые пять метров... Нет, не так,— он развернул чертеж наоборот.— Ну, да один хрен. Уголок — в землю, чтоб чуток торчало. Потом свяжете всю эту мерзость полосой. Ну, что тут непонятного? Сделаете разметку, «Беларусью» нарежете канавы, зашпандорите уголки и приляпаете полосу. Ну все, давайте, мужики!..» И началь-

ник, вручив мне чертеж, ушел. Из кабины вылез тракторист, появился Петро. Потрепались еще с полчасика и принялись за дело.

Без двадцати двенадцать, бросая на ходу лопаты, с объекта лавой потекли рабочие. Обед, конечно, с двенадцати. Обратно к трансформаторной будке подгреб без пяти час и, как выяснилось, нарушил правила хорошего тона: на рабочие места силушка начала подтягиваться с десяти минут второго.

Вбиваем уголки в землю кувалдой — Петро приволок откуда-то тяжеленную. Идут плохо — в час по чайной ложке. А длина у каждого два с половиной метра. Механизатор вызвался помочь, вдолбил уголок ковшом — вошел, как в масло. Ковшом засадили и второй. Когда железный кулак завис над третьим, Петро остановил тракториста: «Погодь, погодь, не суетись!» Он рассудил, что на сегодня хватит: два уголка, уже вогнанные ковшом, мы вбивали бы вручную как раз до конца рабочего дня. Тракторист не возражал, ему все равно. Мне, если откровенно, тоже: я здесь человек случайный.

С трех до полпятого торчали в трансформаторной будке, дожидаясь окончания смены.

...«Беларусь» откомандировали на другой объект, и Петро весь изматерился: оставшиеся шестнадцать уголков нам предстоит забивать кувалдой. Петро начал. У него хорошо получается. Я перенял эстафету — и после двадцати ударов, пять из которых пришлись не по цели, перед глазами поплыли мушки, в голове зашумело, в висках застучало. Петро одобрил и ушел за второй кувалдой. Кувалду он не нашел, но все равно куда-то постоянно уходил: за ломиком, за лопатой, за киркой, за доской, за электродами. В сущности, он прав: он сварщик. Но ведь и я не молотобоец. Уголки заходили в землю с большой неохотой. Полчаса его лупишь, проклятого, он на полметра влезет, а на вторые полметра нужен уже час: и сил меньше, и земля тверже.

Явилось начальство. Мастер, главный инженер управления, начальник участка, прораб, бригадир. Как велика армия начальников! Взять только нашу систему. Самая верхняя ступенька — главк: начальник с кучей заместителей и главные: инженер, механик, технолог, бухгалтер и т. д. Вторая ступень — тресты. И опять: управляющий, гора заместителей и главные: инженер, механик, технолог, бухгалтер и пр. Третья ступень — управления. И вновь: начальник, замы, главные. Четвертая ступенька — участки: начальник, старший прораб, прораб, мастера. И лишь пятый уровень — бригадир и его бригада — являются непосредственными производителями. Все остальные руководят. Вот уж поистине один с сошкой, а семеро с ложкой. И если управления еще, возможно, необходимы, то тресты —

всего лишь накопители и perевариватели бумаг. Может, эти размножившиеся распорядители и душат перестройку?

Уголок, чтоб ему было пусто, не лезет. На ладонях у меня вспухли мозоли — и простые, и водянистые: маханье кувалдой — каторга, особенно с непривычки. Луплю по расплющенной в шляпку поверхности уголка и думаю: неужели с тех пор, когда на герб нашей страны прилепили серп и молот, ничего не изменилось — в смысле усовершенствования техники? Конец двадцатого века. В космос летаем. А тут — кувалда. Ну не смешно?

В тридцати метрах от полигона наших действий расположен общественный туалет. Украшенная мозаикой избушка. После двух часов, то есть с открытием винно-водочного магазина, возле мужского крыла начинает табуниться сильный пол. По двое, по трое мужики заходят в туалет с оттопыренными карманами и через десять-пятнадцать минут выходят жующими с облегченными карманами. Петро называет это заведение рестораном. «Видать, бормотуху завезли,— определил он по наличию толпы возле туалета-ресторана.— А когда «тройник» выбрасывают, тут вообще не пробиться». «Тройник» — это тройной одеколон. Решил сходить по необходимости, да и интересно, как они там, по трое в кабинках, что ли? В туалете чистота чуть не стерильная. И светло — прямо как в операционной. И не пахнет. Пьют возле подоконников. Едва я пристроился к писсуару, один из мужиков проскрежетал: «Та ты чо, гадить сюда пришел, что ли? Хоть бы совесть имел! Люди едят, а ты!..» Я все понял, когда, уходя, увидел юркнувшую за дверь служебного помещения старушку с порожними бутылками. Пьянчугам здесь готов и стол и дом: прокат стаканов и легкая закусь оплачивается пустыми бутылками. Мужикам-то куда еще деваться? Пивнухи позакрывали. А пользоваться туалетом по назначению, видимо, не принято.

Притащился какой-то явно инженерно-технический работник. И выяснилось, что разметку мы сделали не в том месте. Один край контурной линии вплотную прилегает к уже давно существующей теплотрассе, а это вопиющее нарушение. Электрический заряд может уйти не в землю, а в трубу с горячей водой. Придется все переделывать. Во мне уже не осталось сил для отчаяния.

«Ничо, не расстраивайся,— утешает начальник.— Обычное дело. Хорошо еще — асфальт не положили. А то у нас как? Вначале одна фирма теплотрассу протянет, сверху асфальт положат, потом другая газ тащит — асфальт вскрывает и тащит, и опять асфальтом сверху, через месяц выясняется, что еще какой-то кабель не провели. Рушат асфальт и тянут кабель. Ничо, не грусти».

Первый мороз. С ледяного неба сеет колючая крупа.

Две недели расчищал подвалы, а сегодня меня бросили «на дырки». «Ходить по дыркам» — значит заделывать пробитые сантехниками стены. В иную дырку запросто пролезет человек. Появляются они вот как. Каменщики выгоняют стены, отделочники штукатурят их, шпаклюют, белят, красят — и уходят. А потом появляются сантехники и начинают бить свои дырки: им нужно провести трубы. Трубы эти диаметром самое большее с кулак, но сантехники бьют добросовестно, с запасом по полметра, а порой выворачивают и по полстены. И вот после того, как трубы протянуты, наступает черед каменщиков «ходить по дыркам», потому что сантехники, понятное дело, к дыркам теряют всякий интерес.

Тимуру, моему напарнику-казаху, работа знакома. Поглазев на дырку под потолком, Тимур сказал, что надо найти козла и ушел. А за мной поднялся мастер. В подвале нужно выровнять стену старинной кладки, штукатуры не могут приступить к работе, пока из нее торчат обломки кирпичей и старого, твердого, как гранит, раствора. Я должен, вооружившись отбойным молотком, сделать стену ровной.

Впервые взяв в руки отбойник, прошу компрессорщика растолковать мне принцип работы этой штуковины. Принцип примитивный: нажимаешь на жало отбойника, он молотит, отпускаешь — перестает. Девчонки показали мне стену с неровностями, и я, как заправский шахтер-проходчик, стал выравнивать ее короткими очередями.

В перерывах между очередями посмотрел, как работают штукатуры — молоденькие девахи, только после пэтэу. Как по сердцу ножом. Не женский это труд, черт его дери! Но мужики не идут — платят мало.

Через пару часов владения инструментом поплохело — не столько физически, сколько по моральной части. По лицу каменная крошка сечет, лезет в рот, сотрясаешься весь, мозги перетряхиваются, душный казематный воздух гнетет, пыль нос забила. А где-то наверху Тимур ищет козлы. Интересно, нашел или нет?

Перед окончанием рабочего дня мне передали, что утром звонил Гололапов: в пять часов меня ждут в РК ВЛКСМ.

Вызвали для собеседования о возможном избрании членом райкома. Вначале поговорили с Володей Ежевикиным. По его словам, это звание — почетное. Сам он, к примеру, не член райкома. Выбирать будут на районной конференции через несколько дней, но кандидатуры надо определить заранее. «Чем,— спрашиваю,— заслужил я такое доверие?» — «Ну как же! Секретарь крупнейшей организации должен быть членом райкома!» Да и для анкеты

опять же — дополнительный пунктик. Ежевикин отвел меня ко второму секретарю Светлановой: под тридцать, энергичная, глаза внимательные, неплохо говорящая. Я ей: «Мне, конечно, приятно все это, но как-то совестно. Может,— спрашиваю,— для начала в кандидатах постажироваться? А то как-то странно получается: ни в чем себя не зарекомендовал, и сразу так вот, из грязи в князи,— один из «лучших людей района» комсомольского звания. Может, более достойные найдутся?» — «Нет, пусть тебя это не смущает, все в порядке».— «А что я буду делать, чем заниматься как член райкома?» Оказывается, меня будут привлекать. Ну тогда ладно...

Трудимся в дуэте с Тимуром. Хотя трудимся, наверное, громковато. «Ходим по дыркам». Вчера так ни одной и не заделали.

Забрались на шестой этаж и облюбовали кухоньку в одной из квартир. Тимур опытным глазом оценил дырку, сказал, чтобы я его ждал и ушел, а вернувшись минут через пятнадцать, метнул в угол асбестовую плиту, поручил мне ее караулить и опять смылся. Через полчаса я устал караулить драгоценную плиту и решил прогуляться по дому.

В одной из комнат штукатурил подоконник мой сосед по коммуналке Володя Талышев. Штукатуров-мужчин в отделочном управлении можно пересчитать по пальцам, один из них Володя. Работает он в нашем тресте уже двадцать шестой год и восемнадцать последних, после общежития, живет в коммуналке с семьей. Не раз я слышал от многих, что Володя не просто труженик, а чудотруженик. Шестой год ему дают квартиру от треста, он первым стоит в очереди. Но все время откуда-то берутся более достойные, с какой-нибудь льготной причиной. Супруга Вовина извелась от ожидания, смотреть на нее больно. Дочери семнадцать лет, уроженица и воспитанница коммуналки. Обиднее всего, что зажимают жилье именно таким вот, заслуженным и заслужившим.

Володя меня не видел, работал не оборачиваясь. Красиво. Каждое движение — загляденье. Защемило у меня в щитовидке. Подумалось вдруг: мужик — даже не ударник коммунистического труда. А труженица Майя Плисецкая, которая, слов нет, изматывается, но муки ее, будем откровенны, — сладкие муки, муки творчества, — дважды Герой Соцтруда. Ну почему дважды-то? Ну, Герой и Герой, но что значит дважды? Больше некому вручить было, что ли? Так стоит только поискать. Не один такой Володя отыщется.

Подгоняемый стыдом, я пошел на поиски Тимура, чтобы заставить работать его и впрячься в работу самому,

Проскочил заседание парткома. После вступительного сообщения Полины Ивановны тринадцать членов парткома — я их пересчитал — с полнейшим равнодушием оглядели меня — и никто не задал ни одного вопроса. Только чей-то тяжелый и продолжительный вздох, с подвыванием, прозвучал над столом. Не понял я только, что он выражал и кому предназначался. Полина Ивановна выстрелила заключительное словесо. За мой прием проголосовали дружно и единогласно, Сергеичева поздравила меня, и я покинул зал заседаний парткома с облегчением.

Еле поднялся с постели. Башка гудит, язык присох к нёбу, в костях ломки. Это все отбойник.

Меня и двух каменщиков — Мишу и Женю — поставили делать приемное окно для подвала, или, как оно называется по-профессиональному, приямок. Нужно расчистить, расширить и углубить ранее уже существовавший лаз. Недавно, отделывая подвал, в эту щель вползали на карачках, втаскивая за собой ведра с раствором, девчонки-штукатуры. А теперь, когда они, наползавшись, ушли в другое место, настало время вход облагородить.

Тимур явился с сильнейшего похмела. Залез в подвал, охал и постанывал. Прибежал мастер, бросил меня на другой фронт. Посреди двора возвышалась куча застывшего раствора. «Беларусь» вычищала асфальт, но кучу свернуть не могла. Требовалось помочь ей ломиком. Я добросовестно долбил окаменевший раствор, когда неизвестно откуда появившийся главный инженер управления послал меня в другой подвал, где срочно потребовалось заделать дырку, мешавшую штукатурам продвигаться вперед. Я натаскал кирпичей, но тут меня перехватил начальник участка. Необходимо было в самом срочном порядке, бросив все остальное, пробить отбойником дыру для протяжки вентиляционной системы. Я объяснил, что «на дырку» меня послал главный инженер управления, но начальник привел более веские доводы в пользу дыры для вентиляции: приехали вентиляционщики, они — капризные и могут уехать, надо срочно продырявить. Следовало нарастить шланг отбойника, и я пошел к компрессорщику. Того на месте не оказалось, хотя компрессор тарахтел на весь город.

Явился компрессорщик через полчасика, поискал шланг и, не найдя, хладнокровно так, безболезненно, сказал, что его, должно быть, сперли сантехники. Начальник обругал нас с компрессорщиком и заставил, раз нет удлинителя, подкатить агрегат к дому. Так и сделали. Вентиляционщики сидели на своих толстых вентиляционных трубах, курили. Я взгромоздился на козлы и стал яростно врубаться отбойником в стену. По сторонам полетели брызги кирпича, комната наполнилась пылью и грохотом, и вентиляционщики ушли на свежий воздух. Работать было страшно

неудобно, дыру приходилось бить под самым потолком, удерживая инструмент горизонтально на вытянутых руках. Стена была полутораметровая, и за час я углубился в нее лишь наполовину, а после обеда мне нужно было уходить, в два часа предстояло собеседование в райкоме партии перед парткомиссией с инструктором группы строек и еще кем-то.

Мастер отпустил, но каменщики, коим предстояло завершать долбежку, расценили мой уход как дезертирство...

В два часа мы с Архиповым шли по коврам райкома партии. Я уже был в костюме, отмывшийся и прилизанный.

Собеседование вышло, прямо скажем, неординарное. Инструктор раза два бросил на меня взгляд, не задав ни одного вопроса. Рассмотрел бумаги по приему, поинтересовался, почему на партсобрании были голосовавшие «против». Иван Юрьевич объяснил это принципиальностью коммунистов, не захотевших принимать незнакомого человека. «Это тот самый Алексей,— добавил Архипов,— которого мы готовим секретарем комитета комсомола».— «Так...— понятливо сказал инструктор и, глянув еще в какую-то бумажку, дополнил: — Ну, давайте к бабулькам».

Бабульки — действительно бабульки, самые настоящие, и старичок среди них — видно, ветераны партии, проводят собеседование перед парткомиссией. Проверили мой комсомольский билет, бумаги и забраковали анкету: в графе «род занятий с начала трудовой деятельности» проставлять месяца нужно не арабскими цифрами, а римскими. Бдительные бабульки! Отправили переписывать. Архипов, не предвидевший такой задержки, пожелав мне успеха, ушел. Через полчаса анкета была переписана и, вновь отсидев в очереди, я предстал пред светлыя очи бабулек. Вопросы задавали хоть и не самые простые (когда был основан журнал «Коммунист»? Какие награды имеет газета «Правда»?), но все они имелись в вопроснике, выданном мне в парткоме. Бабульки похвалили мои познания — и к бумагам, которых набралось уже на маленькую брошюрку, прибавилась еще одна. Итак, остались парткомиссия и бюро райкома партии. А после — финишная ленточка, вручение кандидатского билета.

Правда, через год все по новой, но это — через год.

В последние дни лужи прихватывало морозцем, а сегодня — оттепель. Небо замазано парными тучами. Фуфайка — нараспашку.

Ударил дождь. Прячемся в подвале. Вместе с нами курят девчонки-штукатуры. Сетуют на усталость после работы. Конечно, труд каторжный. Вспомнил увиденное однажды: гостиница «Европейская» щетинилась строительными лесами, под которыми иностранцы, открыв рты, смотрели, как русские девушки поднимают на подмостья ведра и бадьи с

раствором — на веревках, вручную... И все, что происходит в культурной жизни страны, адресовано вроде как не им. Театр? А когда купить билеты? До семнадцати — работа, а когда наряд срывается, то и до восьми-девяти вечера приходится вкалывать. Какой уж тут театр! Телеящик хоть бы посмотреть, не рубануться раньше времени. Раньше «Времени».

Жалуются девчонки и на холод в вагончике-бытовке. В преддверии прошлой зимы, почуяв приближение холодов, обратились они к мастеру со своими тревогами. Тот пообещал утеплить вагончик, но не утеплил. Просили помощи у начальника участка — тот же результат. Вдарили морозы (а прошлой зимой они были зверские, старожилы таких не припомнят) — вагончик промерзал насквозь; обувь, оставленная в шкафчике для сменной одежды, к вечеру примерзала к полу. Обедали в ватниках и, не выдерживая до конца перерыва, бежали греться на объект. Перед Новым годом приезжали начальник управления, парторг, главный инженер, председатель профкома — поздравляли с неуклонно приближающимся, желали успехов как в личной жизни, так и в производственной. Девчонки пожаловались на холод в бытовке — в помощи заботливое руководство не отказало, но замоталось, видно, закрутилось — и забыло. И вот уже новая зима на подступах, а вагончик так и не утеплен. Решаю, что как только стану секретарствовать, добьюсь решения этого вопроса. Тоже мне вопрос.

Разговор вторгается в более обширные области несправедливости. «Вот,— говорит Миша,— бубнят: агропром, агропром. А мои предки в Волгограде живут, так хавать там вообще нечего. Один хек во всех видах. И в других городах то же самое. Только в Москве, Ленинграде и Киеве снабжение нормальное, ну, может, еще в каких столицах союзных республик. Что, не так?» Все соглашаются. У всех на родине тоже голодняк. «Кто для страны все делает? — подхватывает эстафету Женя.— Да мы же, работяги, не кто-то. Без нас — хана. Ну и что дальше? Захотел я, допустим, сходить на премьеру спектакля. Ну и что? «Гуляй, Вася!» И я буду стоять и смотреть, как мимо проходит товарищ в галстуке и еще за руку с собой кого-то тащит: «Это — со мной». И фиг я попаду, хоть это даже спектакль о рабочем классе!» «Или по радио слышишь,— успевает, пока Женя затягивается папиросой, вырвать инициативу Миша.— Такую ерунду иной раз трепанут: «И как могло случиться,— спрашивает,— что рабочие этого завода перестали быть хозяевами своего предприятия?» Да когда они были этими хозяевами?..» И тут вмешиваюсь я. Несу, так сказать, светоч знаний в массы. Говорю, что скоро все будет иначе, что, действительно, пора рабочих наделять реальной властью, что разрабатывается закон о госпредприятии, который эту власть даст. Но ребята не верят мне. Не

хотят верить. Мой миссионерско-ораторский дебют проваливается.

Дождь не прекращается.

Выбираемся из подвала: привезли раствор, две машины. Раствор плохой, рыжий. Бригадир штукатуров голову дает на отсечение, что стены приямков, слепленные из него развалятся.

Приходит начальник, снимает меня и Тимура с приямков, отправляет в подвал заделывать дырки. Но за час до обеда вырубилось освещение. Полная темнота. Еще при свете к нам на перекур успевают заскочить Миша и Женя. Тунеядствуем. Разговор начинается с жалоб. Мало платят. Девчонкам — на подвале, парням — на дырках. Женя считает, что надо бы давать дом комплексной бригаде — от начала до конца, до сдачи «под ключ». И тогда бы не приходилось, скажем, заделывать за сантехников огромную, до потолка, дырищу. Все уважали бы труд смежника, даже не было бы смежников, все трудились бы сообща, на конечную цель и были бы заинтересованы в ее быстрейшем достижении. И заработки бы выросли. «Ты хитрый, Митрий,— раздается из темноты Мишин голос.— Но дядь Семен тоже умен. Ишь чего захотел — заработков! А рожа не треснет?» Сходятся во мнении, что этого никогда не будет, ибо в нашей стране все шиворот навыворот. Подает голос из темноты и Тимур: «Для этого перестроиться надо, а где она у нас, эта перестройка? Почитаешь газету — там перестраиваются, здесь перестраиваются, а спросишь у какого-нибудь дружка: у вас перестраиваются? — он засмеется. Что, не так?» Так. Женя считает, что разговоров о перестройке стало больше, а дела нет. И Женю поддерживают все, кроме меня, вслух выражая свое невысокое мнение о перестройке, которая никаких перемен к лучшему еще не принесла.

После работы в раздевалке пьянствовали. Употребляли портвейн «Агдам» под кильки. Классика.

Приямок, слепленный из рыжего раствора, развалился словно песочный. До обеда колошматили кучу застывшего раствора и разгружали свежий — из самосвала. Самосвал такой: сам залазишь и сам сваливаешь. После обеда мне на парткомиссию...

Здорово нервничаю. Это уже не бабульки. Да и слово-то какое: «парткомиссия». Перед ним хочется вытянуться по стойке «смирно». А что там, за этими дверями, в кабинете парткомиссии?

Мы с Архиповым ждем своей очереди (кто-нибудь — секретарь парткома или его зам — должны представлять вступающего: Полина Ивановна заболела — достаточно и Ивана Юрьевича).

В среднем через каждые три минуты в кабинет парткомиссии входит очередник; у вышедшего спрашивают, какие вопросы ему задавали — и не бывший в употреблении вопрос тут же заносится в вопросники, такие же, как у меня. Провалов пока нет. Интересуюсь у Ивана Юрьевича, бывают ли они вообще? Бывают. Однажды нашу кандидатку, не ответившую на несколько вопросов, комиссия не аттестовала. И что же было с невезучей дальше? Аттестовали на следующем заседании. Вот и наша очередь, Иван Юрьевич излагает мои тактико-технические показатели. За длинным столом человек пятнадцать. Меня ставят с противоположного торца. Здесь же две бабульки, проводившие со мной собеседование. «Я с ним разговаривала, — сообщает одна из них. — Хорошо подготовлен». Вторая кивает.

Глава парткомиссии перелистывает подшивку моих бумаг. «А почему так много голосовало „против"?» Архипов, сплетая и расплетая пальцы, в очередной раз объясняет, что это — следствие принципиальности коммунистов аппарата треста. «Подождите! — восклицает вдруг глава. — Он же у вас не набрал две трети голосов! Он же у вас не принят!» — «Как не принят? Принят!» — «Нет, не принят! Или вы Устава не знаете? Знаете? А считать умеете? По Уставу за человека должно проголосовать не менее двух третей присутствующих. У вас было двадцать пять коммунистов, «за» — шестнадцать, а от двадцати пяти две трети будет шестнадцать с лишним». Иван Юрьевич растерян: «Но против только шесть человек, — оправдывается он. — Остальные воздержались...» — «В Уставе не говорится, при каком количестве воздержавшихся или голосовавших «против» принимается претендент, там говорится, что «за» должно проголосовать не менее двух третей. Понимаете? Не менее! А у вас менее». — «Двадцать пять на три не делится», — цепляется за соломинку Архипов. — «Делится. С десятыми». — «Что же, нам человека на три части разрубить, что ли?» — «Послушайте, вы понимаете, что у вас проголосовало за кандидата меньше, чем положено по Уставу?» — «Понимаю». — «Вот и хорошо. Странно, правда, что вы это только здесь понимаете. Как он мог дойти до парткомиссии? Извините, молодой человек, что все так получилось, это, конечно, не ваша вина, просто у нас некоторые не умеют считать...»

Шурую домой, обременяю раскладное кресло и тупо пучусь в потолок до позднего вечера. Жена пробует утешить, но от этого мне еще хуже.

Возле туалета-ресторана все так же табунятся мужики. Дырок не уменьшается.

Заминка с моим продвижением к секретарству. Ежедневно звоню Гололапову, в ответ — огорчения. Полину Иванов-

ну положили в больницу, Иван Юрьевич принял на себя груз обязанностей секретаря парткома и кашеварит за шеф-повара. Мой вопрос ему решать недосуг. На моем приеме точка не поставлена. Это передала Сергеичева из больницы. Будут еще раз скликать собрание и переголосовывать. Ужас! Еще раз то же самое! А вдруг еще хуже? Гололапов успокоил. По его словам, собранию будет предшествовать обработка всех моих противников.

Позади еще три недели великого перевоплощения посредственного дворника в не менее посредственного транспортного рабочего. После отбойника в черепе одурение, в глазах рябь, в ногах дрожь. Но на кухне вижу, что Володя Талышев, у которого с вечера была температура (по городу рыскает грипп), собирается на работу — и прихватывает неловкость за слюнтяйство.

До обеда на объект не стоило и приходить. Не было раствора. Опять — на расчистку территории. Дерево — в костер. Неимоверное количество дерева. В костер! Есть вовсе неплохие доски. Все равно — в костер! Костры горят днями. Макулатуру по крупицам из населения выдавливают, а здесь — тонны древесины, та же бумага.

У входа в Дом культуры, арендованный для проведения конференции, комсомольцы с повязками. Попросили предъявить удостоверение или пригласительный. В холле уже топчется народ. Красочные стенды, праздничное убранство. Играет военный оркестр. Встретились с Гололаповым. Снимаем пальто, регистрируемся. Гололапов (наконец-то!) показывает мне Демидова, — они со Светлановой, вторым секретарем, приветствуют у входа почетных гостей. Демидов высокий, слегка (я бы сказал — артистично) сутуловатый, ему это идет, не худ не толст, с греко-римским носом, узкими губами, мощным подбородком. Глаза — зеркало души — небольшие: в таких глазах ничего не разглядишь. Улыбается сдержанно. И старый, как динозавр. Для комсомола. На вид — за тридцать пять.

В зале на каждом кресле — газета со статьей Демидова. Во время регистрации вручили блокнот в красной обложке с тиснением, проект постановления на пятнадцати листах, отпечатанный, судя по выходным данным, за две недели до конференции, и еще две книжицы: рабочие органы конференции и программа мероприятия. Проект постановления — вернее, само его существование — меня удивило. Еще не прозвучал отчетный доклад, не было выступлений в прениях, но уже имелся документ, который, в общем-то, должен явиться их итогом. Полистал я эту брошюрку и подумал: а зачем мы, собственно, здесь собрались, если все уже за нас решили? Поднять руки для успокоения аппарата райкома? Так давайте поднимем и рас-

сосемся, чего ж зря заседать! Пока есть время до начала, вникаю в суть разработанного в кабинетной тиши документа. «Комсомольским организациям обеспечить активное участие молодежи в выполнении Продовольственной программы...» Замечательный пункт. Спрашивается только: к чему он обязывает?

Отчетный доклад Демидов читал минут пятьдесят. Я ни разу не был на районных конференциях, но именно таким и представлял себе отчет первого секретаря, отчет райкома. Приправленный цифрами, списком завоеваний и щепоткой самокритики. Продолжалась конференция с девяти утра до восемнадцати двадцати.

Выступления в прениях — без отрыва от бумажки. Рядом со мной сидела, готовясь к выходу на трибуну, девушка. Листки в ее руках дрожали, пальцы нервно перебирали бумагу. Выступала девушка эмоционально, хотела донести людям всю важность проблемы. Но никто не проникся. Жидкие хлопочки — и все. Почему так? Потому что зал знал: речь девушки, как и прочие речи, подготовлены опять же в кабинетной тиши. От нашей организации, например, тоже выступал парень — Слава Федоров. Текст ему сочинил Гололапов по заданной райкомом теме — и три раза таскал этот текст на доработку. В сущности, прений не было. Были минисоотчеты. Содоклады. И тут я постиг, почему так происходит. О том, что человека волнует, он скажет и без бумажки. Говорить же без бумажки о том, что тебе навязали, трудно. И, наверное, существование готового проекта постановления усыпляло делегатов. Гололапов шепнул мне, что накануне была даже репетиция конференции и его уже подташнивает, ибо он слушает все это во второй раз. И еще показалось мне, что выступления в прениях хоть и звучали с трибуны, обращенной к залу, предназначались не делегатам, а тем, кто сидел в президиуме. А сидел там даже первый секретарь горкома!

Через каждые два часа работы конференции объявлялся перерыв, во время которого работали буфеты с деликатесами, киоски с поп-литературой, выставки предприятий, знакомясь с которыми можно было узнать, что, скажем, «Рассвет» выпускает не только топорные рубашки, но еще и детские ползунки, играл оркестр и фотографы щелкали делегатов на фоне кумачовых щитов. Бесплатно.

Делегатов пришли поздравить экипированные горнами и барабанами пионеры с октябрятами. Выстроились рядами на сцене и с детской непосредственностью, звонкими голосочками прочли монтаж, изобилующий обещаниями претворить в жизнь исторические решения Двадцать седьмого съезда КПСС. Стало жутко неудобно, особенно перед октябрятами, и я вспомнил, как прошлой зимой водил дочурку на новогодний утренник для самых маленьких. Самые маленькие были, конечно, поражены появлением

бородатого Деда Мороза в красных одеждах, но не менее детишек были потрясены и родители, когда Дед Мороз закатил речугу о приближении Двадцать седьмого съезда партии и о том, с какими грандиозными результатами наша страна к нему приближается.

Во втором перерыве нас, делегатов конференции, повезли на обед в заказных автобусах. В ресторан на Невский. Бутерброды с красной икрой, блюда — мечта гурмана. Сколько же денег затрачено на эту конференцию? Тысячи. Во имя чего? Наверное, это и есть показуха. Лучше бы приобрели игрушки для детского дома.

Юру Рубахина, воина-интернационалиста нашего треста, воевавшего в Афганистане, избрали делегатом на городскую конференцию. В списке делегатов он появился за месяц до этого. Гололапов рассказывал, как Кочетов поручил осторожно узнать, действительно ли у Рубахина орден Красной Звезды. Видно, в состав делегатов городской конференции нужен был рабочий с боевой наградой. На оргпленуме после конференции Володю Ежевикина ввели в состав райкома и утвердили заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы — «завпоспорту». Пашкова освободили от обязанностей секретаря в связи с переходом на работу завотделом в горком комсомола. Кандидатуры в состав райкома — все шестьдесят — предлагал сам райком, его аппарат. Должно быть, таким образом были получены прекрасные данные о всеобщем представительстве в комитете, да и качественный состав не подкачал.

Неделю провалялся на больничном. Подкосил грипп.

Вчера зашел Саша Гололапов, предписал: в восемнадцать часов быть у Демидова.

К шести пришел в приемную. Демидов был занят, секретарша не пускала. Через двадцать минут от него вышли люди и я прошмыгнул. Представился. Демидов посмотрел на меня, помолчал и сказал: «Я вас не приглашал». — «Кочетов передал через Гололапова».—«Я вас не приглашал...»

Как рассказал зашедший вечером Гололапов, Демидов только вчера, перед самым моим приходом, узнал о крахе моего кандидатства. Перед районной конференцией ему было не до меня — и он оттягивал решение на период разгрузки. Если бы он заблаговременно узнал, что меня не приняли в кандидаты, то вряд ли я стал бы членом райкома комсомола. Теперь же поздно. «Завтра, — добавил Гололапов, — он пойдет советоваться в райком партии, что с тобой делать. Сам он решать вопрос теперь боится...»

Сегодня Гололапов сообщил: Демидов уже разговаривал обо мне с заворгом райкома партии. Тот сказал, что сейчас — конец года и прием в партию закрыт, но в январе, едва он возобновится, нужно будет попробовать принять меня кандидатом еще раз. Если опять не получится,

то вопрос о моем избрании секретарем перестанет быть спорным, моя кандидатура просто отпадет. Покуда же, по мнению заворга, Гололапова нужно отпустить, а меня взять «на подвес» — исполняющим обязанности...

С вечера сеял дождик, а ночью влупил морозище. Куча раствора окаменела, кирпичи, склеенные льдом, не даются в руки. До обеда предавались достойному занятию — долбили раствор и отколупывали кирпичи. После обеда — опять корячился с отбойником.

Попал на старые палестины, где стажировался — на контурное заземление к трансформатору. Трактор, разравнивая грунт, порвал цепь железных полос, это показывают замеры контрольно-измерительных приборов, и требуется найти порыв.

Участок возле трансформаторной будки давно следовало заасфальтировать, и рабочие-асфальтировщики, главным образом женщины (на самой трудной работе, я заметил, почему-то обязательно используют женщин, труд которых у нас охраняется законом), орали, что забросают асфальтом этот паршивый контур и плевать им на то, порван он или нет, — у них план.

Для начала нужно было найти даже не порыв, а сам контур, и я начал колупать звонкую морозную землю каелкой.

Перед окончанием работы звякнул в партком. Архипов, который хотел было утрясти мое освобождение от работы на стройке, огорошил: начальник управления наотрез отказался держать меня в качестве мертвой души: конец года, трест срывает план — все силы брошены на штурмовщину.

Интересно все-таки, где, на каком объекте работают по-настоящему? Я был на нескольких и везде, как мне показалось, одинаковое усердие. А хочется посмотреть на ударников.

Сегодня нужно во что бы то ни стало побывать на факультете, записаться к кому-нибудь на диплом.

Нашел заведующего кафедрой советской литературы, который сказал, что вообще-то в этом году дипломников не берет, но если я мечтаю поразмыслить о комическом в произведениях Шукшина, то в порядке исключения возьмет.

Вечером заходил Гололапов. Сказал, что завтра идет в райком требовать свою трудовую книжку. Прошло уже семь месяцев с тех пор, как он подал прошение об отставке.

Поутру нас бросают на приямки. Они уже золотые, так много в них вложено. Пока курили, сперли Женино ведро с раствором. Женя в долгу не остался, увел ведро у отделочников. Притащилась мастер отделочников, жуткая матерщинница. Опознала свое ведро, пообещала в следу-

ющий раз всех нас кастрировать и вылила жидкий раствор на кафельный пол.

Вечером — рейд по выявлению пьяниц.

В рейдовой группе воспитатель общежития Макушкина, Архипов, председатель профкома Ефимов, замуправляющего Компотов, инженер по быту — первая помощница Компотова и мы с Гололаповым.

Собственно, выявлять пьянствующих нечего, они не прячутся. Их много, почти все. В какую комнату ни заходим, на столе стаканы, бутылка и закуска. Озлобленные взгляды. И полное равнодушие к нашим педагогическим тирадам. В иных комнатах на нас орут матом и мы выходим, не связываясь. Инженер записывает в блокнот номера комнат, фамилии «залетевших». Все это зачтется при предоставлении жилья. Но и это не пугает рабочих. Отовсюду гром магнитофонов, нетрезвые выкрики, хлопанье дверей.

Таскаю раствор и кирпич на чердак. Чувствую, как крепну физически. Мастер дает отбой и бросает всех на приямки. Обкладываем их кирпичом, замазываем раствором. Приямки уже платиновые. Закончить не успеваем — привезли моторы для лифтов, нужно переть их на чердак. Своевременно, когда был подъемный кран, завезти эти моторы, конечно, не могли. Теперь — на горбу, по лестнице. Каждый весит полтонны, на лестнице с ним не развернуться. Глаза вылезают на лоб. Полное отрубание...

В обеденный перерыв, после приема пищи, работяги усаживаются вокруг стола и режутся в карты. На мелочь. Это у них как инфекция. У одного парня мелочь кончается, он идет к своему шкафчику и шарит в карманах одежды. Находит марку ДОСААФ. Вчера такие марки, не спрашивая согласия, всучивали всем во время получки. На марке написано: «Крепи оборону Родины», стоит она тридцать копеек. Помнится, в романе Горького «Мать» проскочил эпизод с так называемой «болотной копейкой»: рабочих завода хотели обделить по копейке каждого — на осушку болота, рабочие организовали забастовку и отстояли свою копейку. У нас же тридцать сдирают, как с куста. А уж обществ развелось как собак нерезаных. Общество охраны природы, общество охраны памятников, книголюбов, спасания на водах, Красного Креста... Общественная жизнь так и кипит! И каждое просит: «Дай двадцать копеек! Дай тридцать! Ну дай!» Марку у проигравшегося не взяли. Обсмеяли и выгнали из-за стола.

Женя интересуется вчерашним урожаем на пьяных. Нет, он на меня и всю нашу истребительную бригаду не в обиде, но, если здраво рассудить, где им пить? На улице? В параднике? И ежели потумкать еще более здраво — чем им заняться после работы? Даже телевизора в общаге нету. Да если у кого в комнате и есть — все равно пьют.

Ни спортзала, ни комнат по интересам. И заняться ну просто нечем. «А если честно, — добавляет он, — то если бы даже что-то и появилось, все равно пили бы. Привыкли...»

Били вход в подвал. Ломиками и киркой. Компрессор с отбойником стоял без дела два дня, и его увезли конкуренты, теперь поди, попробуй отобрать.

После обеда меня призывают под свои знамена кровельщики. Забираемся на чердак. Во время перекура кровельщики обмозговывают предстоящую операцию. Неожиданно даже для них выясняется, что понадобятся гаечный ключ и веревка. Кровельщики удаляются на поиски этих предметов, а я остаюсь. Через сорок минут становится ясным, что они больше не придут. Через слуховое окно выкарабкиваюсь на крышу. Красотища! Обзор — умопомрачительный! Ансамбль богослужебных заведений — Исаакий, Троицкий — совсем рядом, чуть дальше — Никольский; вдали — Адмиралтейство, Петропавловка, Спас-на-Крови. И прямо под носом — бывший Вознесенский храм возле Варшавского вокзала.

Ленинград. Попробуй описать его, этот город — и ничего не получится. Отсюда, с высоты, в глаза лупит его красота. Во всех направлениях разбегаются улицы, теряющиеся за горизонтом. Ни одного похожего здания! Лепка, балконы, арки, чугунные фигуры, дворцы, мосты, заснеженные реки и каналы, купола, колокольни, каланчи... Ленинград. Он кружит мне мозги, освобождает, вдыхает напряжение, действует как допинг, как стакан водки залпом, тревожит, вдохновляет, делает страстным, зовет к огромным, а не мелочным действиям, к настоящей жизни. Ленинград. Скопище пролетариев, пенсионеров, гопников, актеров, шарлатанов, художников, поэтов, карьеристов, шизофреников, пессимистов, оптимистов, политиков, критиков, психопатов, воров, сократов, мистиков, наркоманов, проституток, пьяниц, умников и людей любой другой масти. Ленинград. Дающий наслаждение. Даже если когда-нибудь я побываю в Нью-Йорке, Париже, Риме, Токио или Лондоне, в чем я, право, весьма сомневаюсь, я не смогу изменить этому городу. О-о, Ленинград!

Покурил на крыше, пальнул окурком во двор. Вспомнил недавний рассказ о том, как на один сдаточный объект приехала комиссия. В тот самый миг, когда комиссия подошла к дому, с лесов с высоты девятого этажа свалился рабочий. Он продвигался с большим листом фанеры, его сдуло ветром и он спланировал под фанерой прямо к ногам изумленной комиссии. Встал, отряхнул зад и утащил свой лист.

Фанерой я не запасся, а ветер сильный, и я забираюсь в слуховое окно, хотя на память мне и приходит еще один

недавно услышанный случай о строителе, вывалившемся из окна тринадцатого этажа безо всякой фанеры и ничуть не повредившемся, ибо ему посчастливилось угодить в кучу свежепривезенного раствора.

Опять шустрим на приямках. Они хоть уже и бриллиантовые, но довести их до кондиции все же нужно. В воздухе чувствуются веяния Нового года. Рабочие вовсю отмечают его неотвратимое приближение.

Оба выходных торчал в библиотеке. Увиливать от корпенья над дипломом больше нельзя. Чревато. Подбирал материал.

Библиография о Шукшине до 1974 года убога, но после семьдесят четвертого — год смерти писателя, — ее невозможно расхлебать. На критиков, набравших в рот воды при жизни этого человека, вдруг нахлынуло прозрение — и они наперегонки стали тискать статейки о безвременно ушедшем. Почему у нас так? Нужно, чтобы человек умер, только тогда его можно похвалить. И уже не просто похвалить, а броситься с похвалами в крайность. При жизни одна крайность, после смерти — другая.

Звонил Гололапову. Демидов неуловим. По телефону секретарша уверяет, что его нет, а придешь в приемную — он все время занят и к нему нельзя. Полина Ивановна все еще в больнице.

Целый день названивал Гололапову. Его не было. Мне вся эта кадровая вошкотня осточертела. Больше звонить не буду, хватит!

На объект пришел Гололапов. Взгромоздясь на козлы, я работал отбойником, который нам опять удалось захватить в пользование. С высоты козлов я и разговаривал с Сашей. Он сказал, что будет так: после новогодних торжеств его отпускают, а я становлюсь исполняющим обязанности секретаря, и, едва вступлю в кандидаты, меня пропустят через частокол согласований и собеседований, а потом выберут и утвердят. Ну, а если кандидатом в члены партии стать мне не суждено, то — увы...

Хоть какая-то определенность.

Возобновляю записи по истечении полутора месяцев.

Я — «подснежник». Работаю исполняющим обязанности секретаря комитета комсомола, а числюсь рабочим. Деньги получать в управлении невмоготу. Будто ворую. Да так, в сущности, и есть. Однако меня утешили: оказывается, «на подвесе» в тресте работает масса народу — председатели профкомов управлений, табельщицы, нормировщицы, секретарши. Все это люди, которых обрабатывают в брига-

дах, о которых говорят: «работаем за себя и за того парня».

Новый год пошел не в жилу. Три дня прохандрил. Температура, кашель с насморком, ломота. В новогоднюю ночь еле дотянул до часу, хлопнул фужер водки и завалился спать.

Гололапову Демидов зачем-то еще месяц трепал нервы. В кабинет Саша вползал безо всяких яких к одиннадцати-двенадцати в каком-то нервическом изнеможении, в свитере, без галстука, с заросшим щетиной лицом — отпускал бороду. По всему было видно, что в мыслях он распрощался уже с немилой работой. Показал мне кучу квитанций междугородных переговоров с женой — на сто двадцать рублей; коллекционировал их из любопытства: до какого размера догонит эту сумму кадровая политика комсомсла в эпоху перестройки, ускорения и нового мышления.

Саша предупредил сразу, что самая серьезная проблема в комсомольской работе — преодоление текучки: на проблемы быта, досуга, труда молодежи просто не остается времени, его пожирают телефонные разговоры, заседательская суета, наведение порядка с отчетностью, учетом, составление бумаг и выполнение указаний «сверху». В тот самый миг, когда он произносил слова об указаниях, тренькнул телефон — и Володя Ежевикин, главнокомандующий райспортом, приказал: в детском интернате на улице Бакунина нужно срочно залить водой каток.

Бумаг, пожалуй, и впрямь многовато. На титульном листе протоколов гриф «СЕКРЕТНО». Так надо. От кого «секретно»? Ежемесячно в райком нужно давать сводную информацию — сколько принято в комсомол, из них рабочих, служащих, женщин; исключено из комсомола; смена фамилии; рассмотрено персональных дел; испорчено при выписке: комсомольских билетов, учетных карточек; не врученные билеты: всего, из них — рабочим, служащим; поставлено на комсомольский учет: всего, из них...; снято с комсомольского учета: всего, из них по месту убытия — Ленинград, Ленинградская область, Советская Армия, КПСС, другие города; по причинам убытия — по возрасту, исключенных, по смерти, по выезду за границу; рекомендовано: кандидатами в члены КПСС, всего, из них...; членами КПСС, всего, из...; выбывших без снятия с комсомольского учета: всего, снято из не снятых; не поставлено на комсомольский учет: всего, в том числе временный учет, поставлено из непоставленных и гэ дэ и тэ пэ.

Показал мне Гололапов годовой статистический отчет. Я смотрел на него как баран, чуть не свихнулся. Состав комсомольской организации. Всего, в том числе женщин, членов и кандидатов в члены КПСС, рабочих, служащих... — все эти категории с разбивкой на подпункты об-

щим числом пятьдесят девять! Возрастные категории... Состав членов ВЛКСМ по образованию: с высшим, с незаконченным высшим, со средним, средне-специальным, неполным средним, в том числе... Состав по национальности: коренной национальности, из них... Распределение организаций по количеству комсомольцев в них — из двадцати восьми пунктов и тридцати граф по горизонтали. Движение комсомольцев за год — из двадцати одного пункта. Распределение исключенных из ВЛКСМ по причинам...

Зачем это нужно? Кому? Что это — средство от безработицы? Сырье, фурнитура для занятости в ЦК комсомола?

К отчету подшита тьма приложений. Скажем, приложение № 4 — «Национальный состав членов ВЛКСМ». В графе «национальность»: русских, украинцев, белорусов... эстонцев, абазинов... алеутов... бурят... вепсов... дунган, евреев, ижорцев... иранцев (персов)... каракалпаков... лакцев... нанайцев, немцев, ненцев... ногайцев... рутульцев, саамов... табасаранов... татар... турок... хакасов... цахуров... чукчей... — общей численностью девяносто три. Любопытное примечание: «Национальности, не перечисленные в данном приложении, дописываются...» Интересно, восемь татар на нашу комсомольскую организацию — это много или мало? И какие выводы из этого сделают в ЦК ВЛКСМ?

А ведь не отгремела еще в стране борьба с бумаготворчеством, но комсомол — как государство в государстве, где работу измеряют квадратными метрами бумаги. Вот и пишешь килограммами протоколы, справки, справочки, отчеты, сведения и прочие важные папирусы.

Звонит завсектором учета райкома Гребешкова: «У тебя сколько по последней сводке постоянных поручений?» — «Триста шестьдесят». — «А временных?» — «Четыреста девяносто шесть». — «Мало. Почему не растешь?» Вот он, бумажно-телефонный метод руководства. Чистейшей бюрократии чистейший образец. Наличие цифры вызывает у некоторых искушение увеличить ее, что и называется дутыми цифрами. Нужно напрочь отказаться от всей этой абракадабры. Одной бумаги сколько сэкономим! Писатели с издателями спасибо скажут. К черту всю эту цифроманию! Давайте шуровать иначе! Свободу комсомольскому работнику! Но, конечно, — не для внедрения мертворожденных инициатив, выношенных в тиши кабинетов. А то у нас слова «комсомол» и «формализм» стали едва ли не синонимами. Среди бумажного океана комсомольский вожак чувствует себя уверенно, а вот в жизни...

Продолжение следует

Николай Кононов

□

Помню, как работал в какой-то фантастической конторе,
Где сходил с ума от собственной ненужности...
Душный отпуск в Туапсе — железнодорожное море
И облака — перегоны, стрелки, окружности...
Так бы весь август просидел,
привалясь к теплому парапету
С собственными коленями в обнимку. О, какое слово потное
Евпатория. Гагра дрожащая. Между дождями просветы.
Электричек расписанье нерасторопное.
Да и куда еще спешить, к какому жалкому пределу,
Когда вот оно — желанное, зеленоватое, бесхребетное.
Как люблю я слушать ополоумевшую филомелу,
Бесперую радиолу, на камнях разогретую.
И к земле тесно припав, неужели и я к вечеру поеду,
Как тихий счастливый человек, Францем Верфелем описанный!
О, как жить мне сладко! Как спать радостно! По следу
Луны брести ночью кипарисовой.
А потом примириться с ежедневной резиновой службой,
Нет! Золотистой тяжбой затеряться в густом валежнике.
О, какая вода струится, захлестнет вот-вот. Ну же...
И я живой пока. И звезды разлиты прежние.

□

Чуть-чуть припудренная тусклой бронзой бабочка
В стеклянной коробочке, два года назад подаренная,
С непроизносимым сладким именем — турчаночка, арабочка,
За пыльной кисеей жжет смертельная испарина?
Верно, и вправду есть булавочка тонкая, узкая
Под сердцем и душой, размером с наперсток, скрытая.
Назубок все дни рожденья помню. Громкая музыка,
Танцы, выпивка, кофта кем-то на стуле забытая.
Так никогда и не разберусь — в самом деле есть ли я
Или только проявляюсь внезапно от случая к случаю?
Лишь рукой накрыл бегляночку — выпорхнула, бестия,
И на лестницу медленно пыльца оседает жгучая.
Вот-вот гости ввалятся толпой прямо с улицы,
Зашуршат плащами, свертками, перепонками, крыльями.
О, какая тень за стеной топчется, сутулится,
Неужели еще один год? Не вернуть никакими усилиями...

□

Немолодой человек работницу вневедомственной охраны
Теснит в объятьях, мнет ее бушлат форменный,
Обжигаясь о пуговицы.
Отвернусь, мимо пройду — не стану, не стану

На пучеглазое счастье смотреть,
грудастое среди всех аллегорий откормленных.
В синем берете от поцелуев отворачивается, рдея.
Значит, вот как
На поверку слова выглядят: им занятья не противопоказаны
На поздних курсах гражданской обороны,
во дворце Безбородко,
В подводном саду возня с пучеглазыми противогазами.
Вот поздняя любовь стеснительная, когда все варианты
сведены к детской цифре, к петличке,
к пуговице, что вовсю крутится,
Словно спутник на привязи. «Ведь увидят, отстань ты»,—
Шепчет. И душа вот-вот в бомбоубежище спустится.
О, римские бюсты на хилой ограде, дрожащие бледные кегли,
Как еще в сад за две войны не попадали?
Мне с тобой легче дышится. Не бросай меня. Рыхлый снег ли
Охраняешь без устали.
Со скребками ладишь, справляешься утром с лопатами.
Где еще подрабатываешь? За лесистой трешницей зеленой
Тащишься? О какие дни бегут от тебя опрометью!
От меня точно так же. Вдоль Мойки с ветренной, несоленой
Незаметной слезой, с нежной жалостью, сыростью, копотью.

Поздняя уборка столовой

Подруга пудры негреющей,
Легкой пыльцы загорелой носительница!
Как женщина сама себе ресницы дразнит, путает
Ружейным ершиком таким — условно, приблизительно
Подводит веки хмурые, их тенью кутает.
Ах, в сумочке сумбур, роенье, путаница...
Я видел зеркальце туманное —
В нем так легко лицо воображалось.
Заложница тепла, зачем к стеклу капустница
Белесая прижалась?
Никто-никто не встретит, не заступится.
И тем дороже жалость.
Вот труд ее ночной —
Пол мокрый вымытый и стулья перевернутые.
За стеклами столовой жмется
Короткий перекур уборщиц поздних. Дни в рулоны свернутые,
Табачный дым... Жизнь в руки не дается.
О, ночи, пеной розовой подернутые!
Ведь умирать придется.
На швабру налегай, нежнейшей с мешковиною
Подругой будь, сестрой, ведь так смывают, вспомни.
Срезают, подтверди. Потопом, нет! Лавиною...
Ресниц дрожащий строй и в кофте так тепло мне.
О, трикотаж обид — вот с рукавами длинными
Что делать, подскажи, шепни, напомни...

Фотоаппарат

Когда я пробегу невидимкой сквозь систему розовых линз,
И прильну к целлулоиду под щелканье легких пружин...
Ах, мне совсем не страшно, повисая головой вниз,
Сворачиваться в рулончик. Незасвечен и невредим.
В черной бархатной комнатке,— и не вырвешься из-под век,
В черной комнатке бархатной лишь на миг,
лишь на миг светлей.
Кто же следующий пробует на язык серебряный снег,
Взгляд бросает назад — нетерпеливый Орфей?
Не дождались и мы, пока другие расходиться начнут,
И под музыку, музыку убегали чуть раньше всех.
О, когда б фотолюбителем был, то маршрут
Из Аида на землю спокойней прошел, без помех.

Не оглядывался на каждый ласковый и нежный звук:
Шелест дальних цикад или тлеющий плач пчел.
Кто трех тысяч теней поводырь, тот подавно уж друг
Трем десяткам разрозненных кадров — легчайший Эол.

На переговорном пункте

На ночном переговорном пункте кто не выстаивал
Очереди в легкую кабину узкую такую, чтоб подслушать,
Как улыбка нежная на том конце подтаивает
Провода — под разговорчик мнущийся, слепой,
едва текущий?

Чьим-то слухом жарким сильно разогретую
Помню трубку черную, шерстяными дальними натертую
словами...
Я в легчайшей люлечке качаюсь световой, светящейся.
Советую
Плюнуть и на все рукой махнуть. Валторна за горами.

И кузнечик, кажется, еще чуть-чуть потрескивает,
Чуть прихрамывая ходит,
шелестит коленками колючими тугими...
Электрический дружок, советчик.
Голос твой люблю за занавесками
Телефонными, пасущийся в глубокой луговине.

Он с валторной дружит тусклой, ласковой, бубнящей,
Он скрывается в какой-то нежной глухомани...
О, кружочек с цифрами туда-сюда крутящийся.
И не знаешь делать что с домашними лобастыми словами,

Эдгар Дубровский

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО

РАССКАЗ ДЛЯ КИНО

Нынешнее лето в тайге было ненастное, холодное. Только в середине июля выдалось несколько теплых тихих дней. Лес прогрелся. Земля курилась парко́м по утрам.

Сильная, глубокая река упиралась здесь в правый берег, выгрызала песчаный обрыв и отворачивала влево. Лесистый берег понижался — и открывалась на нем старая вырубка. Сто лет назад высадили тут горстку ссыльнопоселенцев. Те прижились, обстроились, проложили через тайгу конную тропу к далеким иным поселениям, освоили реку — главный здешний путь. Понемногу вплелась та новая жизнь в местный узор.

Девять крепких изб простояли век. Теперь жителей было мало — три старика и восемь старух, молодежи не было. Три избы стояли нежилые. Не так давно, перед войной, когда жителей было больше, в самом верху вырубки, у леса, вырос большой дом, крытый железом: «Отделение Сугранской фактории». От него единственная улица спускалась сквозь строй изб к реке, дебаркадеру с табличкой «Пристань 420 кв». Подальше впадал в реку таежный ручей и образовывал что-то вроде залива. Жители держали здесь свои лодки — узкие, крутоносые, черные от вара. Через ручей был налажен мостик без перил, тропа шла от него по берегу к длинному сараю из горбыля. Торцовых стен у сарая не было, сквозной ветерок слабо трогал висящие под крышей янтарно-прозрачные балыки. На стене сарая белилами было выведено: «Встретим ударным трудом путину 1953 года». Последняя цифра была свежевыписана поверх полустертых.

В тени сарая на ворохе старых сетей сидел худой, дочерна загорелый старик. На нем был выцветший комбинезон и сношенные кирзовые сапоги. К комбинезону грубыми, но надежными швами хозяин пришил много карманов разной величины и формы.

В оформлении использованы кадры из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего».

Рядом со стариком лежал человек неопределенного возраста, грязный, обросший, в рваном вигоневом свитере и стройбатовских штанах. Он был бос. Пара обтрепанных грубых башмаков, связанных веревочными шнурками, стояла рядом.

Старика звали Копалычем, второго — Лузгой.

Вдали, на песчаной косе видны были фигурки людей возле вóрота, на который они наматывали подборы невода. Там была рыбацкая тоня, с нее жители и кормились.

По свитеру Лузги ползла жирная зеленая гусеница. Оба следили за ней.

— Если до шеи доползет, — сказал Копалыч с надеждой, — милиционер привезет газеты.

— А если до носа? — лениво спросил Лузга.

— Тьфу!

— Если до носа — привезет журналы, — с вялой издевкой продолжал Лузга. — Если до глаза — привезет письмо... Ждешь?

Копалыч не ответил, насупился. Лузга недобро усмехнулся, снял гусеницу и посадил дальше, на бедро. Она подергалась и свалилась на землю.

— Кто-то же тебя родил, — с раздражением сказал Копалыч. — А от нее еще какие-нибудь родственники... Где-то... Не может никого не быть.

— В капусте нашли... Вертухай надыбал.

Помолчали.

— Голубцов хочу, — сказал Копалыч. — С томатом, сметаной. Ел когда-нибудь голубцы-то?

— Не знаю...

— Не ел.

На тоне крутили ворот шестеро старух, а трое стариков тащили из воды подборы невода. Вытащили на песок мотню с рыбой, принялись разбирать улов, раскладывать по ящикам.

— Скоро привезут, — сказал Копалыч, поглядев туда, и достал из кармана оловянную ложку, а из другого — обломок оселка. — На, поточи.

Лузга не взял. Копалыч бросил их ему на грудь.

— Встань, поработай, — брезгливо сказал Копалыч. — Будет законная доля, а не подачка.

Лузга давно потерял способность удивляться, но тут бровь его поднялась.

— Ну ты чешешь! Как прокурор.

Копалыч взял у него ложку и оселок. Ручка ложки была сточена наискось, но затупилась. Копалыч стал затачивать лезвие до бритвенной остроты.

— Старики решили тебя больше не кормить, — сказал он.

— У кого рыба, тот и прав, — вяло кивнул Лузга, слова Копалыча его не озаботили. — «Встань, поработай»...

Ну, встану, рыбу начну шкерить... С ходу у меня — начальник, дед Яков. То сделай, сё... А я не хочу бочки мыть из-под рассола! Он меня выгонит, и я опять лягу. На хрен тогда вставать?

— Сдохнешь с голода.

— Зато лежа. — Лузга помолчал, глядя в небо, и сказал, меняя смысл: — Законная доля.

Подошли лодки с уловом. Старухи умело и молча опростали лодки, часть ящиков занесли в сарай — то была рыба для засолки и вяления: кумжа, ленок, чир.

— Нынче прибыток не велик, — сказал высокий старик в очках, седобородый, похожий на Чернышевского, бригадир Яков. — Однако малый бочонок засолим. Приступай, Копалыч.

Небольшого осетра и ящик с нельмой и судаком старики потащили к леднику, что был выкопан у края леса. Старухи же стали делить лещей, сорогу, окуней и всякую мелочь.

Подошла с ведром Лида, приземистая, широкая в кости женщина лет сорока, немая, работавшая на пристани матросом. Ей уважительно наполнили ведро рыбкой покрупней. Маленькая черноглазая старуха смотрела на факторию.

— Ну, неси ему, — сказала ей другая старуха. — С утра вроде напевал чего-то.

Черноглазая перекрестилась и подхватила ведро.

Заведующий отделением фактории Зотов, крепенький человек с белесыми бровями и ресницами на твердом лице, носил черный костюм, брюки заправлял в хромовые сапоги, брился каждый день — вообще следил за собой тщательно. Один жил, бобылем, скотины не держал, только кур — для яиц и диетического мяса.

Вот и сейчас он ходил среди кур, высматривая намеченную. Ловко поймал ее, взял за лапы головой вниз и кухонным ножом, как шашкой, отсек голову. Далеко тянул голову и клонился вперед, чтобы сапоги не забрызгать.

Черноглазая принесла рыбу.

— На слабую уху поймали сёдни. Извини, Степаныч.

— Поставь там.

— Керосин вот кончатся. Не отольешь бутылку до баржи дотянуть?

— Подумаем, — не сразу ответил он.

Копалыч расположился в сарае, достал из кармана самодельную деревянную коробочку, бережно вынул из нее очки, многократно чиненные проволочкой и нитками, надел и принялся за работу. Был он подвижен, легок — не так уж много было ему лет, как казалось на первый взгляд. Он шмякал на доски стола рыбину головой от



себя, спиной вправо, одним быстрым движением втыкал лезвие ложки в рыбью голову и проводил к себе вдоль хребта, разваливая, раскрывая рыбу. Поворачивал кулак и обратным движением ложки выгребал внутренности и сбрасывал в ведро. А распластанную рыбину клал в чан с рассолом. Над сараем с криком летали чайки.

— Эй, ты, философ! — позвал Копалыч.

Но Лузги у сарая не было. Он лежал теперь в другом месте, на песке, недалеко от пристани и смотрел, как девочка Саша, дочь Лиды, укладывает собранные для засушки растения в проволочные гербарные сетки.

Саше было пятнадцать. Крупная, широкая в кости — в мать, она выглядела старше. Когда она задумывалась, то прикусывала губу и взгляд как бы уходил внутрь: ее некрасивое лицо освещалось, становилось тонким, неожиданно прелестным. Саша была здесь на каникулах, жила с матерью на дебаркадере.

— Что ж ты цветы за решетку сажаешь? — лениво пошутил Лузга.

— Пятиклашек по ним учить будут, — она покосилась на него. — Ты, что ли, в школе ботанику не учил?

— Не помню.

— Ну, и враки! Как это не помнишь?! Не старик.

— Не, не помню.

— На тебя просто зла не хватает! — всерьез рассердилась она.

Из дебаркадера вышла Лида с тазом рыбы, покосилась в сторону дочери. Стала чистить рыбу и все косилась. Наконец постучала ножом по тазу. Саша обернулась. Мать быстро заговорила пальцами и лицом — языком глухонемых. Саша выслушала, упрямо дернула плечом и отвернулась.

— Чего она? — без интереса спросил Лузга.

— Не твое дело! — сердито бросила девочка.

На реке вдалеке застучал мотор. Саша прислушалась.

— Манков?

— Он, — сказал Лузга.

Крупная моторка с разгона вползла на песок. Милиционер Манков несколько секунд сидел неподвижно, по профессиональной привычке внимательно и последовательно оглядывая берег и вырубку с избами.

На дебаркадере появился начальник пристани Фадеичев в застиранном кителе и форменной фуражке. Начальственно поднял руку на шутливо отданную Манковым честь.

— Привет товарищу капитану рейда! — сказал Манков.

Фадеич, так его все звали, кивнул и скрылся.

Манков встал, ступил на берег и небрежным рывком втащил тяжелую лодку на землю. Он был необычайно силен, хотя и не больно высок ростом.

На звук мотора Копалыч загодя вышел из сарая и направился к Лузге. Тот встал. Оба напряженно смотрели на милиционера.

Наконец Манков впервые посмотрел в их сторону, внимательно оглядел, помедлил и кивнул. Лузга тут же лег, а Копалыч поспешил назад, к сараю.

Все это время Саша чрезмерно внимательно занималась гербарием и как бы не видела процедуры проверки ссыльных. Чужое унижение раздражало ее.

К лодке Манкова подошли бригадир Яков, другой старик, маленький, и черноглазая старуха. Маленькому Манков привез двуручную пилу, Якову обещанное не привез, а черноглазая получила от него три стекла для керосиновой лампы.

Манков достал из лодки потертый саквояж, забросил за спину автомат ППШ, а затем взял связанные шпагатом три деревянные резные рамки и пошел к пристани.

Саша искоса посмотрела на Лузгу.

— Копалыча зовут так, потому что в тайге копается. А почему тебя Лузгой зовут?

— Так я и есть Лузга.

— Ну, и врешь ты все! — опять рассердилась она. — Все ты помнишь, а не говоришь, потому что ты бессовестный! У нас просто так не сажают!



Лузга засмеялся, поднял камешек и кинул Саше на колени.

Она с нарочитой брезгливостью сбросила камешек.

Манков вошел в комнату Фадеича.

На реке Фадеич прослужил всю жизнь, бывал и капитаном буксира, а когда списали из плавсостава по здоровью, стали его понижать — главным образом из-за бестолковости и вздорности характера — и допонижали до этого дебаркадера. Дальше некуда. Жену он два года как схоронил, сыновья еще раньше разлетелись и жили где-то глухо, а больше у него никого не было. Вся жизнь и его, и его близких была с ним — на стенах комнаты, точней, каюты. Он очень любил фотографироваться, а рамочки для фоток делал сам. Были на стенах и картинки из «Огонька» — тоже в рамах.

На столе стоял самовар трубой в форточку. Фадеич листал старый «Огонек». Манков протянул рамочки, Фадеич принял их с вожделением.

— Взял у фотографа, — сказал Манков. — Пошлешь ему пару балыков.

— Фабричные! — Фадеич ласкал рамки пальцами.

Манков достал из саквояжа газеты, бросил на кровать. Сел, устало откинулся к стене.

— Чем живет страна? — Фадеич покосился на газеты.

Манков угрюмо посмотрел на журнал. Там был портрет Берии.

— Позавчера кореша схоронил. Воевали вместе.

— Скончался от ран? — деловито спросил старик.

— Урки зарезали. В подъезде. С дежурства шел. Зарезали, раздели — форму сняли, наган... Это они так амнистию празднуют! Магазин грабанули, с пальбой, людей поранили... Ну, мы их!.. Но шесть человек ушли в тайгу, а у нас собак не хватает!

— Какую амнистию? — спросил Фадеич.

Манков поморщился, вырвал у него журнал.

— Дай сюда! Вот! — Он потряс портретом. — Маршал Берия, Лаврентий Палыч... Весной, после смерти товарища Сталина, всем уркам амнистию дали. Его дело. Я ничего понять не мог! Всех урок — на свободу! Органы с ног сбились, до сих пор кровью захлебываемся, мать твою!..

— Все было учтено, — легко сказал старик. — Значит так надо.

Манков пристально посмотрел на него.

— Я сегодня, только светать стало, заправлял лодку. Смотрю, Дмитрюк едет, начальник милиции, верхом, и на седле что-то такое везет... Туман был понизу, лошади не видно, только голова иногда показывается, а у Дмитрюка перед грудью портрет — вот такой! — Манков не совсем еще пришел в себя от утреннего впечатления. — Да не один — три! Бросил их на песок, слез и — ко мне. «Полей, — говорит, — бензином». Я говорю: «Это приказ?» — «Приказ, — говорит, — что же еще». И потом много еще ворчал, все матом... Ну, и спалили.

Фадеич не сразу спросил:

— А чей портрет-то?

— Так я ж говорю! — Манков обозлился, ткнул в портрет. — Его! Чей...

Фадеич долго молчал, потом спросил:

— Дмитрюк — враг народа?

Манков поморщился — Фадеич раздражал его своим неумением думать.

— По радио было сообщение. Дмитрюк позвонил в краевое управление, там подтвердили: разоблачен, выведен из состава, судили... Все!

Манков выдрал портрет из журнала.

— Нет! — забеспокоился Фадеич. — Я не оповещен.

— Я тебя оповестил.

— Пока нет бумаги...

— Защищаешь? — тихо спросил Манков.

Некоторое время сидели молча, глядя друг на друга.

— А по инструкции, — спросил старик, — кто имеет право портреты уничтожать?

— А кто здесь есть, кроме нас двоих?



По улице к дебаркадеру неторопливо шел Зотов. Подошел к Саше.

— Александра, почему не заходишь?

— Чего я там не видела! — Она ощетинилась, как раздраженный ежик.

— Именно, что не видела. Сгущенку не видела. Так? Конфеты «лимонная долька». Так?

— Да нужны мне ваши конфеты! Прямо я тут вся...

Она оборвала себя и отвернулась.

— Грубишь, — мягко сказал Зотов, покачал головой и шагнул в сторону дебаркадера.

На пути лежал Лузга.

— Уберись, — сказал Зотов.

Лузга не пошевелился. Зотов беззлобно пнул его. Лузга отполз немного. Зотов прошел мимо.

Закусив губу, Саша отвернулась от Лузги. Он снова взял камешек, бросил в ее сторону. Она дернула плечом:

— Ну и валяйся, как...

Он ногой подтолкнул к ней банку из-под тушенки, перевернулся на спину и вытянулся.

Она быстро глянула на него, фыркнула:

— Делать мне больше нечего!

— Мумия готова, — сказал Лузга, складывая на груди руки.

— Ну сколько можно, ей-богу! — воскликнула Саша, с

трудом сдерживая улыбку, потом взяла банку и принялась сыпать на Лузгу песок.

Зотов взошел на дебаркадер как раз в тот момент, когда из окна на палубу вылетел бумажный комок. Зотов нагнулся, взял его, приоткрыл и быстро сел на корточки, тревожно оглянувшись. Развернул на колене портрет, сложил, не разглаживая, и убрал во внутренний карман пиджака.

И тут увидел, что на него смотрит высунувшийся в окно Манков.

— Здравия желаю, — сказал Зотов, поднимаясь.

Манков молча кивнул и скрылся в окне.

Войдя в комнату, Зотов добродушно спросил Манкова:

— Враги народа долго будут на берегу валяться? Ступить негде.

Манков посмотрел в окно на Лузгу.

— Да он безвредный. Ему ссылки еще четыре года.

— Безвредный? Посмотрим... Но это я так... Привез?

Манков достал из саквояжа машинку для стрижки волос.

— Заграничная, — удивился Фадеич.

— Трофейная, — Зотов взял машинку, приладился к ней, подвигал ручки, пострекотал ими.

— Ну-ка, давай! — Манков решительно закатал рукав гимнастерки. — Стриги.

Зотов стал выстригать на волосатой ручище Манкова дорожку.

— Что ж, ты так и будешь с разными руками? — удивился Фадеич.

— А сейчас и ту пострижем! — Манкову стрижка понравилась. — Слушай, а давай спину мне пострижешь!

И он уже гимнастерку принялся расстегивать.

— Да вы что?! — возмутился Фадеич. — Что вы мне в каюте скотный двор устроили! Марш с рейда!

— А сколько единиц у тебя на рейде? — спросил Манков.

— Девять, считая твою. И ничего смешного.

Посмеиваясь привычной шутке, Зотов и Манков, прихвативший автомат, вышли из комнаты.

— Катер когда будет? — спросил Зотов.

— Уже грузится у заготконторы. Не сегодня-завтра пойдет.

— Это хорошо, — ощущение власти над милиционером, которое давал листок бумаги в кармане пиджака, пьянило Зотова, он смотрел на Манкова ласково, с большим намеком. — Ну, а как вообще-то твои дела?

— Ты мужик бдительный, Ваня, — сказал Манков. — И в кармане у тебя сильный факт. А ты знаешь, как эту бумажку использовать?



— Да уж... — улыбнулся Зотов.

— Вот и я знаю, как использовать, — Манков засмеялся, похлопал Зотова по пиджаку и пошел с пристани.

Зотов стоял задумчивый.

Из камбуза вышла Лида, увидела Зотова, и ее озабоченное лицо сделалось покорным.

— Вечером придешь, — тихо сказал Зотов и показал машинку. — Заодно и пострижешь меня.

Лида послушно наклонила голову.

Консервной банкой Саша сыпала на Лузгу песок и засыпала целиком, до шеи.

— Пристаешь — хорони его! — ворчала она, хотя ей хотелось смеяться. — Возись тут с ним, ишь, придумал!..

Лузга лежал, не шевелясь, прикрыв глаза. Ничего ему больше не нужно, пусть только девочка Саша сыплет на него прогретый солнцем песок, сыплет, сыплет...

Подошел Манков, поставил на песок саквояж, поправил автомат на плече, сказал Саше:

— Вроде тебя мать зовет.

— Ну и что, ну и иду, пожалуйста.

Лузга медленно вставал, песок пластами рушился с него. Когда Саша отошла, Манков сказал:

— Опять не работаешь?

— Перекур, гражданин начальник,

Песок насыпался под свитер, в штаны, Лузга весь кривился, подергивался.

— Тряпка, ей-богу! — поморщился Манков. — На фронте вроде был...

— Вроде?

Манкова взбесила его интонация.

— Что?! А ты не равняй себя, мы таких видали! Я от звонка до звонка оттрубил, а когда я Карпаты штурмовал, ты в плену немцам галифе лизал!

Лузга прямо посмотрел на Манкова. Тот отвернулся.

— Потом зайдете со стариком, распишетесь в месячной подписке.

— Слушаюсь, гражданин начальник, — бесцветно сказал Лузга.

Манков пошел к избам.

Солнце уходило за лес.

По таежной тропе к краю старой вырубки подошли шесть человек, измотанных долгим переходом. Остановились за деревьями, тихо стояли, прислушивались. Отсюда виден был дом фактории, остальные дома и пристань были скрыты крутизной идущего к реке склона.

— Ляжем до темноты, — сказал невысокий жилистый человек с забинтованной головой; его звали Крюк, и он был у них вроде бы главным.

В этот момент в доме открылась дверь, и все шестеро пригнулись, хотя до крыльца было далеко и вряд ли их можно было оттуда увидеть.

Зотов с миской в руке стал разбрасывать объедки разоравшимся курам.

Когда он ушел в дом, самый старый из шестерых, ушлый таежник Михалыч, сказал с уверенностью:

— Собаки нет.

— Чего тянуть?! — вскинулся Шуруп, нервный, дерганый, вечно на грани истерики. — До темноты я подохну!

— Заткнись, — процедил Крюк. — А что у реки? Если там взвод ждет? У нас на следу столько мокрухи, вполне могли солдат поднять.

— Но дом-то вот! — поддержал Шурупа благообразный человек Муха. — Как вошли, так и вышли.

Крюк думал. Посмотрел на пятого, Барона, одетого в милицейскую форму, но без фуражки. Барон пожал плечами.

— В темноте, не в темноте...

Шестой, белокурый, хорошенький паренек Витя, ничего не сказал, спокойно ждал, как решат другие.

Через некоторое время Зотов вышел из дома, прошел за поленницу помочиться. Застегивая ширинку, услышал за спиной движение, обернулся.



— Здравствуй, хозяин.

Шагах в трех стоял Муха, улыбался ласково. Зотов удивился новому лицу, но не встревожился, шагнул навстречу, и тут ему в спину уперся обрез.

— Будешь тихо — не убью, — прошептал Крюк. — Кто в доме?

Муха еще улыбался, глядя на них.

— Я... — не сразу сказал Зотов. — Один я...

— В деревне есть чужие?

— Нет.

— Веди в дом.

Когда, оставив Витю наблюдать за подходами, вошли в дом, Шуруп сгреб Зотова за рубашку и выдохнул в лицо:

— Жрать!!

Вечер был тихий, теплый и казался прозрачным от того, что в темнеющем воздухе над водой мелькали тысячи прозрачно-белых мотыльков. Вот уже больше часа танцевали они свой странный бесшумный танец, и все больше их падало на воду, и темная река несла эти легкие хлопья в наступающую темноту.

Саша сидела на обточенном водой бревне, Лузга лежал, облокотясь на песок, и доедал из миски холодную уху.

— Как в этом году поденок много, — сказала Саша, рассматривая на ладони мертвых мотыльков.

— Откуда они берутся?

— А они три года червячками жили, в воде... А сегод-

ня все сразу... Превратились в бабочек... На немного минут... И умрут все... Они даже не едят, им нечем.

— А чего ж делают?

— Ну... — Саша смутилась. — Обеспечивают потомство.

Лузга сказал с раздражением:

— Это в школе таким словам учат — «обеспечивают»? У них вечер любви! Вершина жизни. А вы в школе, небось, и слово-то это стыдитесь сказать — любовь!

— Ну почему, если в стихе... — краснея, сказала Саша.

Лузга проворчал что-то и стал лениво ловить пляшущих поденок. Засмеялся, поймав мотылька.

— Где любовь, там и смерть за углом!

Саша внимательно посмотрела на него, задумалась.

— А ты кем раньше был?

— Да когда раньше, Саша? — он махнул рукой.

Она не рассердилась, настаивать не стала. Он сел на корточки у края воды, вымыл миску, руки. Пригляделся, резко черпанул миской воду и выбросил на берег рыбешку, малька.

— Мама хочет, чтобы я после десятого в институт шла. Я же думала идти работать, ей тяжело одной, а она говорит: ничего... Так хочется в город поехать, может, даже в Москву, поступить в студенты... Не знаю...

Лузга принес миску с водой, в которой метался, серебряно взблескивая, малек.

— А на кого учиться?

— Хитренький! Не скажу!

Лузга держал миску в ладонях, оба склонились, разглядывая рыбешку.

На дебаркадере хлопнула дверь. Они обернулись, Лида вгляделась в сумерки, поставила на перила фонарь «летучая мышь», чтобы осветить лицо и пальцы, и стала нервно говорить по-своему.

— Нет! — сердито крикнула Саша.

Та опять что-то сказала, Саша сникла.

— Иду, чего ты...

Лузга зло выплеснул рыбешку далеко на песок и бросил миску перед Сашей.

— Знаю, что она говорит! Боится маманя, как бы ее девочку не того! — он сделал циничный жест.

— И нет! — Саша вскочила, чуть не плача, потому что он угадал. — И врешь ты все, врешь! И никем ты не был, никем!

Подхватив пустую миску, она быстро пошла прочь. Лузга некоторое время лежал неподвижно, потом приподнялся и плюнул далеким плевком.

У берега, в заводине, течение было возвратным, вода медленно вращала мертвых поденок, и все больше быстрых кругов от рыбы появлялось то тут, то там, и разносилось над водой сочное чмоканье.

Крюк и Михалыч рассматривали имевшееся у Зотова оружие: двустволку, охотничий карабин, коробки патронов. Зотов убирал со стола после ужина. Остальные лежали на полу на ворохе мехов. Шуруп спал.

— Для него патроны есть? — Крюк положил на стол пистолет «ТТ».

— Нет, — сказал Зотов.

— А для нагана?

— Да откуда? Это не промысловое оружие.

Крюк посмотрел на него, сказал жестко:

— Промысловое.

К столу подсел Барон, выразительно посмотрел на часы.

— Да, — кивнул Крюк и повернулся к Зотову. — Лодки на замках?

— Нет. Зачем?

— Значит, в деревне одна мелкашка и одна берданка? И все?

— Точно.

— Выходим через час, — сказал Крюк Барону. — До лодок пойдем краем леса, чтобы собаки не учуяли. Ну, а там...

Барон слегка повернул голову в сторону Зотова, Крюк твердо посмотрел на Барона.

Зотов в зеркале видел, как его приговорили. Он прошел на кухню, бестолково переставлял посуду и лихорадочно думал.

В дверь сунулся Витя.

— Идет кто-то!

Крюк вскочил, поманил Зотова, сказал спокойно:

— Встреть на крыльце, в дом не води. Витя, схоронись во дворе, если попытается знак подать—разом кончь обоих.

Когда Лида подошла к дому, Зотов стоял на крыльце.

— Иди домой. Так? — сказал он. — У меня живот болит, не хочу ничего.

Она что-то тревожно спросила.

— Ничего мне помогать не надо! — раздраженно сказал он.

Она постояла немного, повернулась и ушла в темноту. Зотов вернулся в дом. Все смотрели на него.

— Слушай сюда, — сказал он Крюку. — Немая приходила. Я ей мог на пальцах сказать, она бы кое-кого предупредила... Вопрос: зачем не сказал?

— Жить, небось, любишь, — Шуруп сплюнул.

— Завтра к вечеру, может, послезавтра придет катер. Везет деньги на пять факторий. На катере человек пять, ну шесть. Одно-два ружья, один «ТТ» — вот так, примерно.. Ну, куда вы на этих лодках уйдете?! А на катере мы и далеко и быстро уйдем. Можно — в город. Можно в такую тайгу, что...

Он умолк под их взглядами. Стало совсем тихо.

— «Мы»? — Барон взял двумя пальцами лацкан его пиджака: — Ты и твои вошки?

— Не, он чистый, — весело сказал Шуруп, — от него деколоном тянет.

Все пятеро так внимательно рассматривали Зотова, что ему стало совсем тошно.

— В деревне милиционер, — сказал он, отдавая последний козырь. — Вчера приехал, про катер сказал.

После некоторого молчания Муха ласково спросил:

— А почему раньше не упредил — о легавом?

— Ну... Теперь я с вами.

Барон и Крюк согласно посмотрели друг на друга.

— Катер — это хорошо, — сказал Крюк.

Копалыч подымался рано. Он жил во времянке у деда Якова. Наскоро помывшись у рукомойника, он достал очки и тщательно промыл стекла, а потом вытер их специальной тряпочкой и убрал в коробку.

Вышел на крыльцо дед Яков.

— Что, паря, опять стараться идешь? Как найдешь, шепни, где жйла-то, а?

— На что тебе золото, дядя Яков?

— Да мне немного, шматок. Поехать хочу, сразу увидеть всю Россию и что с ней вместе — Киргизию там, Грузию... И непременно Курскую губернию, откуда мой род. Читал обильно, но видеть хочу, понять, как все это составляется вместе.

— Везде там я ездил, — сказал Копалыч, — и много где еще... А помирать легче не будет. Но ты прав — поезжай... Неужели не скопил на рыбе-то?

— Скопил, — дед усмехнулся, почесал затылок. — В один конец. Дак мне еще и вернуться желательно.

Копалыч махнул на него рукой и пошел за калитку, взяв стоявшую у забора лопату.

Лида полоскала белье в реке возле дебаркадера.

Витя из чердачного окна фактории хорошо видел в бинокль всю деревеньку и пристань. Рассмотрел без интереса и Лиду. Но тут в поле зрения бинокля вошла Саша. Высоко подоткнув юбку, она вошла в воду дальше матери, нагнулась, стала мыть лицо и шею. Бинокль застыл в Витиных руках.

— Кого видишь? — спросил его снизу, из люка Шуруп.

— Старуху,— медленно ответил он, и желваки его вспухли.

— Ты давай за ментом следи.

В комнате совещались.

— Легавого в избе не взять, — сказал Крюк, — посечет очередями.

— Да напрямки и пойти нельзя, — заметил Михалыч, — собаки забазлают.

— Послать его, — сказал Шуруп про Зотова, — пусть сюда приведет.

— Ну, нет! — усмехнулся Крюк. — Мне спокойней, когда хозяин на виду и потрогать можно.

— Тсс! — Муха, глянувший в окно, вскинул руку.

Во дворе, в трех шагах от калитки, стояла черноглазая старуха. Ждала, не желая тревожить хозяина, если он еще не встал.

— Что ей надо? — прошептал Крюк.

— Обещал керосина налить,— тихо ответил Зотов, у которого появилась некоторая надежда на другой исход дела.

Старуха терпеливо ждала. Зотов вышел на крыльцо, кивнул ей, прошел в сарай, прикрыл за собой дверь и — засуетился: выхватил из кармана огрызок химического карандаша, быстро огляделся, ища бумагу, вспомнил про портрет Берии, достал его, послюнил карандаш, крупно написал: «В доме банда. Шесть. С оружием». Зотов сложил бумажку в несколько раз, схватил бутылку с керосином, макнул дно в бочонок с дегтем и плотно прижал бумажку к дну бутылки.

Уже неторопливо вышел он из сарая, покосился на открытое окно. Из-за занавески Крюк следит, будет ловить каждое слово, жест, заподозрит — тут же выскочат, и старуху придушат, и...

— Зайди по дороге к Манкову, — раздельно и громко, как ему приказали, сказал Зотов. — Покажи ему, вот, керосин, мол, брала у меня. Так?

Он сверлил ее взглядом. Она кивнула, не понимая главной его заботы.

— Скажи ему: пусть придет, дело срочное для него есть.

— Ага, зайду, зайду! — она суетливо взяла бутылку. — Спасибо тебе, век не забуду.

Старуха вышла за калитку.

— Да не махай ты бутылкой, неси нормально! — процедил он.

— А! — Она повела плечом. — Не пролью.

Зотов вернулся в дом. Крюк пристально смотрел на него. Зотов взгляд выдержал.

— Может и не прийти, — сказал он. — Я ему не начальник.

— Не придет, значит плохо позвал, — сощурился Муха.

— Старуха к менту зашла, — доложил с чердака Витя.

В комнате стало тихо, только Шуруп вдруг засвистел «Мурку», но тут же смолк под взглядом Крюка.

Лузга проснулся на ветхом брезенте в предбаннике бани, стоявшей дальше остальных, у самого впадения ру-

чья в реку. Потянулся, стал на четвереньки и выполз на свет.

Река дымилась. Солнце еще не поднялось над тайгой.

Лузга выпрямился, сел на скамью и откинулся на стену бани, далеко вытянув ноги.

Манков, в галифе и майке, вышел из нежилой избы, которую занимал, наезжая в деревню, повозился с калиткой — она косо висела, петля отошла, и пошел к фактории. На полдороге взгляд его привлек какой-то пестрый комок на тропе. Он присел на корточки и развернул измазанный дегтем портрет. Хмыкнул Манков весело, не перевернул бумажку, не осмотрел, отбросил в сторону и выпрямился. Оглянись он сейчас, он бы увидел надпись! Но он не оглянулся. Пошел к фактории, насвистывая.

У них все было рассчитано. Но когда Манков, войдя, задержался у калитки и стал двигать ухоженной дверцей, сравнивая ее со своей, у Шурупа не выдержали нервы: распахнув дверь сарая, он выставил руку с обрезом двустволки и, не целясь, выпалил в сторону Манкова, который секундой раньше отпрыгнул в сторону. Все же одна картечина задела его. Манков прыгнул через забор и побежал. Из окна выстрелил из «ТТ» Крюк — и попал. Но Манков бежал, бежал по-открытому, напрямую, а выскочившие за ограду бандиты выцеливали его. Опять выстрелил Крюк, Манков упал, но тут же вскочил и с той же силой побежал дальше, к своей избе. Выпалил Шуруп с неизвестным результатом. Михалыч целился, оперев охотничий карабин на столбик забора. Барон стоял позади с ружьем в руках, и не стрелял. А Витя бежал стороной, но не успевал пересечь путь. Манков вломился в калитку, и тут выстрелил Михалыч. Манков согнулся, прошел к дому несколько шагов, остановился и упал назад. Витя перемахнул забор. Простреленное в нескольких местах тело Манкова еще дергалось, выгибалось. Прицелившись из нагана, Витя выстрелил в него раз, другой... Хотел и третий, но услышал крик Барона:

— Хватит, ты! Патроны береги, кретин!

Витя отрезвел, убрал наган, вошел в сени и тут же вышел с автоматом в руках.

За заборами, в окнах появлялись перепуганные старухи.

— Муха, бери Витю и этого, — Крюк показал на Зотова. — Загнать всех в дома, взять те два ствола, и чтоб никто не вылезал. Михалыч, погляди, что у них там с лодками. Шуруп, со мной на пристань.

Зотов сказал Крюку твердо:

— Бабу на пристани не троньте.

Крюк пожал плечом, взял у Вити автомат и быстро

пошел к пристани. Шуруп — за ним. Через некоторое время пошагал туда и Барон.

Лида прятала Сашу. Та ерепенилась, страх еще не дошел до нее.

— Да почему я?! А ты? Что я — маленькая? Что они мне сделают-то?

Мать рывком повернула ее к себе и сказала пальцами. Глаза Саши расширились.

Мать втолкнула ее в кладовку, где стояли ведра, швабра, ящик мыла. Приложила палец к губам и заперла дверь на висячий замок.

На палубу вышел Фадеич в фуражке, с рупором в руках. Вид его был грозен, он совершенно не понимал, что происходит.

Собаки бешено лаяли по деревне. Муха, изъявший в одном из домов малокалиберку, шел по улице и стрелял из нее собак. Негромкий хлесткий выстрел, и сразу вслед— визг и вой.

Витя толкнул калитку перед домом деда Якова.

— Дед с норовом, — сказал тихо Зотов, стоявший сзади.

От крыльца к ним молча метнулась большая собака. Витя спокойно взял прислоненные к забору вилы.

На короткий всхлипывающий стон собаки дед вышел на крыльцо с берданкой в руках.

— Немедленно прекратить стрельбу! — закричал в рупор Фадеич, когда раздался еще один выстрел.

К сходням быстро шли Крюк и Шуруп.

— Сдать оружие! — приказал им Фадеич.

Вдали стегнул выстрел из мелкашки. Визг — и тишина. В деревне больше не было собак.

— Гляди, они послушались, — добродушно сказал Фадеичу Крюк, поднимаясь по сходням. — Во! Все тихо, никто не стреляет.

Сбитый с толку его тоном Фадеич напыжился.

— Не сметь всходить на государственную пристань без раз...

Крюк на ходу вырвал у него рупор и сильно толкнул старика раструбом в лицо. Фадеич отлетел к стенке и сполз по ней на палубу. Он смотрел на бандитов без страха — с огромным удивлением.

— Отдыхай, дед, — сказал Шуруп, толчком ноги открывая какую-то дверь. — Полундра! Все наверх!

За дверью был склад угля и дров. Шуруп пошел дальше, пнул дверь кладовки, но увидел замок.

Крюк заглянул в камбуз, увидел Лиду: бесформенное тело, лицо в саже.

— Как тебя?.. Сготовь обед на семь человек. Склад открыт?

Она отрицательно покачала головой. Крюк нашел Фадеича, тупо рассматривавшего помятый рупор, ощупал его карманы, достал связку ключей.

— Под расписку, — неуверенно сказал капитан рейда.

Крюк бросил ключи Лиде под ноги, сгреб пятерней китель на сухой спине капитана и повел старика в его комнату.

Зайдя за угол и оглядевшись, Лида нашла в связке ключ от кладовки, сняла его и бросила в воду. А свой достала из кармана передника и, подумав, засунула за наличник кухонного окна.

Михалыч осматривал лодки. Ударом приклада пробивал дно и переходил к следующей. Оставил неповрежденными только две.

Лузге с его позиции у бани видно было, как Лида прятала Сашу, как выбросила ключ, а другой схоронила. Он сидел неподвижно и думал. Представить, как дальше пойдут дела, не удавалось. Пока что надо было сделать одно. Он вынес из предбанника башмаки и переместился ближе к дебаркадеру. Здесь стоял на трех камнях котел с варом для смоления лодок. Лузга сунул в него башмаки и закидал кусками вара. Потом побрел в сторону изб и лег на землю на открытом месте, откуда были видны и улица и дебаркадер.

Витя и Муха, обойдя все избы и отстрелявшись, шли к пристани. Зотов вышагивал за ними на таком расстоянии, чтобы для них он был идущим с ними, а для деревенских, следивших из-за занавесок, — отдельным, подневольным. Мало ли как все обернется.

Подойдя к Лузге, Муха и Витя остановились над ним.

— Мертвяк? — предположил Муха.

Лузга открыл глаза и кивнул утвердительно.

— Задорный! — удивился Муха.

Подошел Зотов. Муха вопросительно посмотрел на него. Поморщившись, Зотов махнул рукой:

— Ссыльно-политический. Враг народа.

— А-а, — с пониманием протянул Муха. — Тогда лежи, сука, и чтоб никуда.

Муха и Зотов пошли к пристани, а Витя задержался, дал тем отойти и наклонился к Лузге.

— Дивчина где? — мягко спросил он.

— Какая? — испугался Лузга. — Маленькая, что ли? Соплячка?

— Не ма-аленькая! — Витя резко ударил лежавшего ногой.

Лузга привычно свернулся в комок, прикрывая голову и живот, Витя просунул ствол нагана между пальцами Лузги и уперся ему в лицо. Лузга убрал руки и заговорил тоном, похожим на блатной:

— Мне она нужна? Соплячка, в куклы играет... Где?.. Я знаю? Услышала пах-пах, слезла в погреб... Вон! В избах. Век свободы не видать!

Витя поверил.

Около полудня Копалыч возвращался домой. Подходя к избам, особенного не заметил, на тишину и безлюдье внимания не обратил, занятый своими мыслями. Не заметил и Муху, сидевшего с обрезом в тени забора у манковской избы. Копалыч шел без очков, а вблизи видел плохо, поэтому, войдя в калитку, споткнулся о труп собаки и выронил лопату. Нагнулся, увидел кровь, мертвый оскал и в изумлении огляделся. У крыльца лежал дед Яков. Борода торчала вверх. Копалыч подошел.

— Дед, ты что?..

Он достал и торопливо надел очки, нагнулся и увидел мертвые глаза за круглыми стеклами, на рубахе на груди пятно крови.

Копалыч медленно разогнулся. Только теперь он услышал странную тишину. Он осторожно огляделся. Никого. В дом идти страшно. Он снял бесценные очки, упрятал в коробочку и убрал в надежный карман.

Естественным было пойти к Манкову. Поминутно озираясь, он пересек улицу, пошел вдоль заборов и наткнулся на Муху. Несколько секунд он рассматривал этого человека, примечательного только обрезом.

— Здравствуйте, — сказал Копалыч.

Муха молча смотрел на него.

— А что случилось? — тихо спросил Копалыч.

— А ничего.

— А где милиционер? Манков?

Муха показал за забор:

— Вон торчит... нога... Ты вот чего: тут — можешь, а за деревню не ходи. Стрелять буду без объявления, — он показал на лежавшего вдали Лузгу. — Иди к тому, в концентрацию. Мне видней будет.

Копалыч постоял, не зная, что спросить, и побрел к Лузге.

— Кто они? — спросил он Лузгу.

Лузга не ответил — следил за Мухой, который быстро пошел на перехват черноглазой старухи, направившейся к мостику через ручей.

Старуха на его окрик: «Цурюк!» остановилась, стала доказывать, что надо ей в сарай, за рыбой. А Муха показал: «Назад!» Она не послушалась, он ударил ее прикладом. Она упала. Встала с трудом.

— Что он делает?! — возмутился Копалыч. — Нет, что он делает?

— Сядь, — грубо сказал Лузга. — И заткнись.

В комнате Фадеича тесно сидели Крюк, Барон, Шуруп, Михалыч и Витя. Зотов незаметно и тихо сидел в углу на корточках. Фадеич стоял у окна. Крюк и Барон рассматривали речную карту, лоцию.

— Нет вам отсюда другой дороги, — как бы даже жалея их, сказал Фадеич.— Суд да тюрьма.

— Почему нет? Есть, — спокойно сказал Крюк.

— Потому. Вы вошли в конфликт с властью.

— Власть нам амнистию дала, — сказал Крюк. — Нам все списали. И еще спишут.

Тут они переглянулись с Бароном,— Крюк хватил лишку: надежды, что спишут, не было.

— Что твоя власть может? — сказал Барон. — Ну убить меня. Так и я могу убить — тебя. И любого. Твоя власть что тебе дала? Гроши. А горб гни всю жизнь. Я не работаю, а беру сколько надо и еще вдвое. И живу красиво, — и тут Барон, говоривший все время спокойно, вдруг заорал: — Я красиво живу! А по тебе ходят, ты подошвы лижешь.

Фадеич молчал, отшатнувшись. Они снова занялись картой.

— Я исполняю долг, — сказал Фадеич.

— Да заткнешься ты вконец, козел вонючий?! — завизжал Шуруп. — Я его разорву, падлу! Дай его мне!

Крюк строго посмотрел на него, и Шуруп смолк. Витя встал.

— Всем здесь быть, когда гости подвалят, — сказал Крюк.

— Услышу, — сказал Витя.

Он вышел, прошел на камбуз, где стряпала Лида.

— Дивчина где? — ласково спросил он.

Она замычала в ответ. Он жестко сдавил пальцами ее лицо.

— Молодая где?

Она показала вверх по реке, изобразила, как гребут веслами. Он не поверил. Слова Лузги о погребе больше походили на правду, и он пошел к избам — искать.

— Ненавижу блатарей, — говорил Копалыч, лежа рядом с Лузгой. — Жестокие, подлые... У больного пайку отнимут, ударят калеку... Предадут любого — своего, чужого... Им ребенка убить...

— У кого рыба, тот и прав, — сказал Лузга, следя за Витей, входившим в избу.

Копалыч замолчал. На него навалилась такая тоска, что неудержимо потянуло на откровенность,

— Я ведь не золото ищу. Я археолог. Есть такая наука об ископаемых людях, культурах... Здесь должны быть стоянки первобытного человека, я еще до войны предполагал. В тридцать девятом мою статью перепечатал английский журнал, «Нэйчур», и через месяц меня взяли... Как шпиона... А сын был на истфаке, новейшая история, для него мой арест — крах всего. В Бутырке повезло: переправил домой записку, ну, чтобы отреклись и не писали мне. Не имел права их с собой тянуть...

— И не пишут, — скривился Лузга.

Копалыч опустил голову. Замолчали.

— «Пещерные люди», «троглодиты»... — вдруг громко сказал он. — А в неолите не было у́рок! И палачей не было!

— Не ори. Пришьют.

— Тебя-то не тронули, — едко сказал Копалыч.

— Мне плевать — живу, не живу. А им интересно, когда страха много перед ними.

Витя вышел из очередной избы, недобро глянул в сторону Лузги.

— Интеллигента когда-то называли носителем культуры, — сказал Копалыч. — В другой жизни... Сейчас просто бьют по лицу, и падаешь на колени!

— Если упал — какая культура? — покосился Лузга. — Одни поджилки.

— Да! А когда-то назывался интеллигентом.

— Столько карманов у интеллигента не бывает, — зло пошутил Лузга.

Витя подошел к Мухе, издали посмотрел на ссыльных.

— Расскажи, что делал с партизанами.

— Да бросьте мне шить! — дернулся Муха. — Не был я в полицаях, за мокрое сидел!

— Ага... А что делал с партизанами? Научи.

Муха в ярости вскинул обрез. Витя отвернулся и пошел к Лузге и Копалычу.

Копалыч при его приближении поднялся на ноги. Лузга приподнялся и сел на корточки, глядя на Витины ноги.

— В куклы играет?

Витя резко ударил ногой, но Лузга успел подпрыгнуть и встретить ботинок кистями рук. Лузга отлетел на метр, но удар получился мягкий. Витя быстро шагнул, снова ударил, и Лузга, не успевший приготовиться, со стоном повалился на спину. Удар косо пришелся в голову.

Витя пошел на пристань. Копалыч нагнулся над Лузгой.

— Сильно?.. Он ушел.

Держась за голову, Лузга медленно сел. Посидел, морщась, огляделся, нашарил возле себя сосновую чурочку и протянул Копалычу.

— Отойди на пять шагов и кинь вон туда, не высоко, вот так, — он показал высоту над землей.

Изумленный Копалыч безропотно отсчитал пять шагов. Лузга поднялся на корточки, собрался.

— Кидай.

Чурка полетела. Ноги Лузги слабо бросили его вбок, до чурки он не дотянулся. Сел, уронил голову, брезгливо глядя на вытянутые ноги.

— Дай ложку.

Копалыч достал заточенную ложку, дал. Лузга двумя короткими ударами проколол оба своих бедра. Вскочил на корточки, скомандовал:

— Подними чурку!.. Пять шагов... Вон туда — кинь!

Копалыч кинул. Устрашенные мышцы послушались — Лузга стремительно выпрямился, косо взлетел в воздух и коснулся чурки рукой, сбил ее в полете. Встал. На штанинах были пятна крови.

— Кровь, Лузга, — удивленно сказал Копалыч.

— Меня зовут Сергей. Запомни на всякий случай: Сергей Петрович Басаргин.

— Очень приятно, — пробубнил Копалыч. — Николай Павлович. Старобогатов. А адрес у тебя есть?

— Теперь нет. Родители умерли в блокаду. Все.

— Ты ленинградец? — изумился Копалыч.

Басаргин смотрел на пристань. Там, возле двери кладовки, стоял Витя.

Дверь была в щелях. Витя приник к одной, всматриваясь. Но здесь была теневая сторона пристани, солнце в кладовку не попадало.

Река с тихим урчанием терлась о корпус дебаркадера. Из комнаты Фадеича неясно доходили голоса, да изредка звякала посуда на камбузе. Среди всех этих легких звуков показался Вите за дверью шорох. Прижав лицо к двери, он сильно втянул носом воздух кладовой. Ухмыляясь, нежно почмокал губами, касаясь ими щели. Потрогал замок. Достал наган, всунул ствол в дужку замка. Но тот был слишком массивен — можно погнуть ствол.

В комнате Фадеича играли в карты. Фадеич скорбно торчал у окна, морщась от междометий и сорных слов. Барон лежал в сапогах на кровати и с интересом листал «Огонек». Зотов пробрался к окну, сказал Фадеичу негромко, но не таясь от бандитов:

— На хрен ты нарываешься? Делай, как велят. Останемся живы.

— Будто ты не с ними.

— Я такой же пленный! Из-за чего жизнь терять?

Крюк переглянулся с Шурупом, усмехнулся:

— Во крутится, змей!

Раздался близкий пароходный гудок.

Барон быстро сел. Крюк вскочил, схватил автомат, бросил Барону свой пистолет.

— Катер?! — Крюк смотрел на Зотова.

Побелев, тот вжал голову в плечи и попятился.

Все вышли наружу. Река была пуста, но вверху, за поворотом, нарастал шум идущего судна.

Фадеича с рупором поставили у окна служебной комнаты, в которой примостился Михалыч с карабином. Оттуда он держал под прицелом и старика и Лиду, ставшую у причальной кнехты. Бандиты скрылись на другой стороне дебаркадера, где уже был Витя, забывший про кладовку. Зотова оставили в проходе, возле окошечка кассы — как бы встречать.

Из-за поворота показался большой черный пароход. Судовой ход был тут близок к берегу, пароход, казалось, шел прямо на дебаркадер, нависал над ним черным бортом, на котором было написано «Бабушкин». Это было грузо-пассажирское судно, идущее с полной загрузкой. На верхней палубе сидели на вещах и лежали человек пятьдесят пассажиров.

На пристани Шуруп завертелся, заверещал сипло:

— Когти рвать! Когти рвать!

Концерт оборвался. Густой голос, прокашлявшись, загремел на всю реку:

— Капитану рейда Фадеичеву — речной привет!

Фадеич стоял истуканом. Михалыч зашипел из окна:

— Не молчи, гад!

— Здравствуй, Петя,— негромко сказал Фадеич.

— Как жизнь, Фадеич? — прогремел пароход.— Чем лечишь радикулит?

Михалыч за занавеской клацнул затвором. Фадеич поднял рупор, покашлял в него и деревянным голосом доложил:

— Имею на рейде девять единиц маломерного флота. Штиль.

В репродукторе послышался смех.

Пароход не собирался приставать, он шел мимо. По рации включили «Последние известия».

Тогда Лида, скособочившись, чтобы Михалыч из окна не увидел ее лицо и руки, стала быстро что-то говорить людям на пароходе. Проплывали мимо разные лица, некоторые прямо смотрели на нее, но выражение их не менялось — они не понимали ее языка. Лицо Лиды исказилось, пальцы мелькали... Нет, не понимают! В отчаянии она пятерней схватила свое лицо, сжала его.

Черный пароход уходил вниз по реке, и долго еще слышались сообщения о жизни страны.

Все это время Басаргин и Копалыч лежали ничком, как велел им Муха, прибежавший сюда и залегший с обрезом позади них.

Теперь он поднялся, пробормотал озадаченно:

— Почему ушел-то? Али то не катер был?..

Он пошел назад, на свой пост. Копалыч прошептал:

— Ты видел? Они хотели напасть на пароход!

— Другого ждут,— угрюмо сказал Басаргин.

— Я все думаю: если это беглые...

— Да какие беглые! Амнистированные. Свободные граждане, мать их...

У кладовки дебаркадера опять появился Витя, настроенный решительно. Басаргин, пользуясь тем, что уходящий Муха не видит его, перебежал к котлу с варом и стал тщательно обуваться. Ложка Копалыча была при нем.

Витя, звериным чутьем дознав за дверью Сашино тепло, прижал к щели щеку, гладил ладонями доски и тихо поскуливал. Оторвался от двери и пошел искать, чем открыть.

На пожарном щите на другой стороне дебаркадера он увидел топор. Поигрывая приятной вещью, пошел назад. Дверь кладовки была открыта. Удивленный, он сунулся туда. Лида двигала ящик с мылом.

— Где маленькая?!

Она показала рукой, как гребут. Пнув ее, он кинулся искать на пристани.

А Саша в это время бежала по мелкой воде вдоль берега, прикрываясь прибрежной травой и кустами. Берег повышался, начинался лес, надо было выходить на берег. Цепляясь за кусты, она выкарабкалась, встала и оглянулась...

В этот момент и увидел ее с пристани Витя. В три прыжка он был на берегу и бросился к лесу.

Лида заметалась на пристани, схватила топор и побежала на берег. Муха на своем посту встал, обеспокоенный. Тогда Басаргин метнулся наперерез Лиде и остановил ее.

— Брось топор! Я сам.

Она сказала что-то, он отнял топор, бросил его подальше и помахал Мухе. Тот успокоился, сел. Лида тяжко замычала и опустилась на колени.

Басаргин шепотом приказал Копалычу:

— Сейчас бегом в лес! Там прячься, пока они тут. Ну! Раз, два... Пошел!

Молча бросились они к лесу. Басаргин вырвался вперед и не оглядывался — не Копалыч его заботил. Муха побежал было за ними, вскинул обрез, но их уже плохо было видно среди деревьев, и он не стал стрелять, а быстро пошел к пристани — доложить.

Витя бежал через сквозной светлый бор. На небольшой поляне он догнал девочку. Она обернулась с вызовом, тяжело дыша.

— Только подойди!

Искаженное погоней Витино лицо менялось, появилась его туповатая улыбка. И это успокоило Сашу.

— Чего ты бежишь-то?! Чего?!

— Ага, бегаем,— сказал он.

И сел рядом с ней на землю. Она удивленно смотрела на него. Никаким злом не веяло от хорошенького паренька.

— Разбегались тут,— проворчала Саша, все же несколько отступая от него.

Коротким движением ноги он подсек ее ноги. Саша упала, и он навалился на нее. Она закричала. Ужас ее был тем сильней, что она только что поверила ему. Это был ужас, вызванный предательством, и он дал ей силы. Она сопротивлялась бешено, рвала пальцами его надвинувшееся лицо, и тогда он схватил ее за горло. В этот момент он близко увидел ноги подбегавшего Басаргина.

С зажатой в руке ложкой Басаргин длинным прыжком накрыл борющихся, и Витя коротко вскрикнул. Басаргин вскочил и рывком отвалил в сторону Витино тело.

— Ничего! Ничего... Сашенька, ничего...— говорил он, склоняясь над ней, стараясь быстрей ослабить, стереть ужас, не дать ему покалечить ее.

А она смотрела на него так же, как на Витю, ничего еще не поняв и не делая различия между ними.

— Все уже! Больше ничего страшного не будет. Быстрей пойдем отсюда! Вставай!

Она поднялась. Ее била дрожь. Он взял ее за руку и быстро повел дальше в лес. Неожиданно он остановился.

— Подожди здесь. Я сейчас.

Он вернулся на поляну, достал из кармана убитого наган, заметил лежавшую на мху ложку и ее взял тоже.

Пятеро стояли возле пристани.

— Упускать нельзя,— сказал Крюк.— Михалыч, бегом разыщи ублюдка этого, Витьку, найдите тех двоих, добейте. И все быстро, быстро! Того гляди катер будет!

Михалыч трусцой побежал в лес.

— Помоги ему,— сказал Барон Мухе.

Тот вопросительно посмотрел на Крюка.

— Распыляемся,— недовольно сказал Крюк.

— Мма-ть моя была женщина...— пропел Шуруп.— Дисциплинка, как в колхозе.

Вход в пещеру был низкий, скорей лаз, да еще заросший можжевеловыми кустами — укрытие надежное.

Саша вдруг заплакала.

— Ну, ну... Все позади.

— Они маму убьют. Бить будут, чтоб сказала...

— Да у них свои дела́, не тронут,— уверен он не был.

— Они убьют ее, убьют... Я назад пойду.

— Никуда не пойдешь! — резко сказал он.

Саша отошла от него, стала на колени и продолжала тихо плакать. Басаргин угрюмо смотрел на реку. После долгого раздумья обреченно сказал:

— Цепь — одно за другим... Я же знал.

Она с надеждой повернула к нему мокрое лицо.

— Лузга, родненький, сделай что-нибудь!

— Меня зовут Сергей! Поняла? — заорал он.

Он удивился. Так бы и ушел он прятаться в лесу, если б остался Лузгой. Но давно забытое имя неожиданно сильно зазвучало в нем.

Идя к деревне, он проверил барабан нагана — там было всего два патрона. Он выругался.

К поляне возвращался осторожно, все еще не решив, какая цель у него. Посмотреть, что и как? Выкрасть Лиду? Но если туда сунешься, навалится вся стая.

На поляне было движение. Он упал бесшумно, выглянул.

Над телом Вити склонился Михалыч. Вот он на корточках стал искать следы. Нашел и зашагал по следу. Прямо на Басаргина.

Готовясь остановить его и заставить бросить карабин, Басаргин подобрался, но Михалыч вдруг замер, всматриваясь в сторону треснувшей ветки. Посмотрел туда и Басаргин.

Через бор, часто останавливаясь и оглядываясь, брел Копалыч.

Михалыч вскинул карабин и прицелился. Но Басаргин успел выстрелить раньше. Михалыч повалился.

Услышав выстрел и никого не видя, Копалыч обреченно застыл на месте. Но когда увидел идущего к нему Басаргина с карабином в руке, сказал возмущенно:

— Да что это опять за стрельбу устроили?!

— Сейчас и ты будешь стрелять! — зло сказал Басаргин.

Копалыч покачал головой.

Басаргин шел к деревне. Копалыч шагал за ним, не зная, зачем. Лес здесь был темный, с густым подседом, тропа петляла. Из кустов сказали:

— Стой! Брось винтарь!

Помедлив, Басаргин бросил карабин и чуть повернулся, прикрывая от кустов наган, засунутый за пояс. Из-за кустов вышагнул Муха с обрезом, направленным Басаргину в грудь.

Не размышляя, по наитию, Басаргин отчеканил по-немецки:

— Как стоишь, полицейская морда!? Два шага назад! Приказ!

Муха растерялся: лицо мучительно напряглось воспоминанием, взгляд поплыл — и ствол обреза повело в сторону. Этого было достаточно: Басаргин в падении выхватил наган и выстрелил.

— Не умею и не буду,— твердо сказал Копалыч, отдергивая руки, когда Басаргин протянул ему обрез. — Я не стану убивать. Понимаете — это нельзя...

— Не будешь?! Пусть перебьют деревню? Изнасилуют девчонку?! Сменят нам ссылку на вышку?! Им можно? «Око за око» — так учила война.

— Там были изверги.

— А эти?!

Замолчали. Копалыч хмуро думал. Они подошли к краю леса и залегли за стволом поваленной ели. Отсюда был виден дебаркадер. На палубе стоял Барон. Остальных видно не было. Солнце склонялось к реке.

Басаргин подвинул Копалычу обрез.

— Нажмешь вот это... Можешь не целиться...— Он яростно прошептал: — Ты же должен мне помочь!

Копалыч принял обрез. Басаргин как-то засуетился, успокоился.

— Я тоже, знаешь, не на стрелка учился. В сорок первом, с третьего курса, взяли в разведшколу... И, знаешь, быстро... Когда припрет, быстро этому учишься... Разведротой командовал в сорок третьем.

— А как сюда?

— В сорок четвертом в разведке контузило, очнулся у немцев. В лагере сколотил группу, бежали. С боем. Опять ранило. Решили выходить по одному...

Лузга умолк — на палубу вышел Крюк, заговорил с Бароном. Тот посмотрел на часы, потом оба повернулись к лесу. Ждали.

— Ну? — сказал Копалыч.

— Ну, вышел один, без свидетелей и документов — прямо в трибунал. Ничему не верят. Хотели в штрафбат, так я ранен... Дали шесть лет лагерей. Но я ж себя все еще офицером понимаю, коммунистом. В лагере я — про конституцию. Дали еще четыре года. Я — протест. На это карцер, а потом сунули к уркам...

— Били,— кивнул Копалыч.

— Каждый день, месяца два, счет я потерял... Тут я и кончился, одна ниточка осталась — выжить.

Лузга замолчал, глядя на дебаркадер. Там появились Шуруп и Зотов. Зотов нервно заспорил с Крюком, видно, его хотели послать в лес вместе с Шурупом.

— Если они пойдут в лес...— сказал Басаргин.— А они пойдут — выяснять, и все вместе, теперь им нельзя ина-

че... Когда выйдут на линию вон того серого камня... Видишь?

— Да.

— Выстрелишь в их сторону — и лежи, ни в коем случае не выглядывай.

Крюк и Шуруп пошли к лесу. Барон двинулся позади них. Зотов остался на пристани.

— Дойдут до камня — стреляй! — прошептал Басаргин и бросился назад, к лощине.

Скрытый ею, он перебежал к берегу реки, пробежал вперед и выполз к тропе. Здесь он окажется за спиной бандитов, когда они повернутся на выстрел Копалыча.

Копалыч очень волновался. Он заранее положил обрез на ствол дерева, навел приблизительно в сторону идущих, но все никак не мог лечь удобней, торкался плечом в дерево, опускал и поднимал голову.

Крюк и Шуруп дошли до камня. Копалыч, судорожно вздохнув, нажал спуск. От выстрела словно поскользнулся шедший много дальше и в стороне Барон. Его падение настолько поразило Копалыча, что он вскочил, сжимая обрез и всматриваясь в то место.

Крюк плеснул в Копалыча короткую автоматную очередь. Крюка в этот момент скрывал от Басаргина ствол дерева — и Басаргин опоздал, ему пришлось сместиться. Когда он выстрелил, Крюк упал.

Шуруп, пригнувшись, побежал в лес. Басаргин выстрелил, не попал, вскочил и побежал за Шурупом. Тот обернулся на бегу, просунул обрез под левую руку и выстрелил назад. Картечь посекла ветки рядом с Басаргиным. Тот остановился, вскинул карабин. Шуруп снова обернулся, чтобы выстрелить. Басаргин опередил его.

Копалыч лежал на боку и скреб рукой по жухлой хвое, устилавшей землю,— хотел повернуться, лечь удобней, но тело не выполняло.

Басаргин, стоя на коленях, подхватил его за плечи, потянул, повернул на спину.

— Лузга,— прошептал Копалыч, на его губах пузырилась кровь.— Сделай...

Басаргин увидел пятна крови на груди и животе.

— Карман... маленький... под рукой.

Басаргин нашел кармашек пониже подмышки, расстегнул, вынул ветхий листок с записью.

— Там адрес моих...

Он смолк.

— Говори, что сделать?

— Найди. Скажи — оклеветан.

Копалыч умолк, лицо застыло, но кровь на губах еще пузырилась. Басаргин не знал, куда убрать бумажку. Он достал из другого Копалычева кармана коробку с очками

и положил бумажку в нее. Сунул коробку в карман своих штанов.

Слева начинало болеть. Он потрогал бок — кровь.

Басаргин поднялся с колен, посмотрел сверху на Копалыча. Тот был еще жив. Басаргин стоял и смотрел.

Подошла Лида, стала напротив. Басаргин сказал:

— Жива, жива твоя Саша, в порядке.

Барон тогда упал от удара по ноге — пуля попала в мякоть, ни кость, ни артерия задеты не были. Пока он в этом разбирался, стрельба закончилась, и он, до выяснения обстановки, пополз к берегу, благо тот был близко, спустился с низкого обрывчика на песок и залез в нишу под нависшим дерном, пронизанным корнями прибрежного тальника.

Старобогатов умер. Басаргин закрыл ему глаза.

От пристани нерешительно приближались Фадеич и Зотов. Начали выходить из изб старухи и старики.

Солнце садилось.

Возле служебной комнаты, где у Фадеича стоял сейф, было сложено оружие: автомат, карабин, ружье, два обреза и наган. Фадеич и Зотов переносили все это в комнату. Что влезло в сейф, было Фадеичем заперто там. Остальное он сложил в сундук со старыми флажками речной сигнализации и запер. Потом с государственным видом запер дверь комнаты.

Два старика дожидались окончания этой операции.

— Насчет покойников,— сказал маленький старик.

— Якова похороним на кладбище...— стал рассуждать Фадеич.— Манкова надо в город везти, по месту жительства и для решения начальства.

— А этих?

— Как следствие решит.

— Что ж, так и лежать им? Ночь, собак перевели — кто хошь из тайги придет, росомаха, лиса, потратят покойников-то.

— Надо всех положить в ледник,— сказал Зотов.

— Дак там рыба.

— Выкинуть! Рыба...

— А это дело,— оживился Фадеич.— И запирается.

— Сколько гробов ладить? — спросил маленький.

— Один,— сказал Фадеич.— Для Якова. А пока светло еще, идите соберите всех: в лесу трое, да тут... Лошадь с волокушей. И ты иди,— добавил он Зотову.

— Я?! Да я весь день на мушке у них жил, а теперь мне их же и таскать? Да если б не я...

Дверь Фадеичевой комнаты распахнулась, на пороге стал Басаргин. Он был без свитера, Лида бинтовала его торс, и когда он вскочил, бинт поволочился за ним.

— Ты?! — Басаргин пристально смотрел на Зотова.— Ты у меня на мушке был!

— Озверел совсем! — Зотов попятился.— Если б я их не сдержал, они бы всех перебили.

— Ты мне сегодня не попадайся,— очень тихо сказал Басаргин.

Испуганный Зотов пошел к сходням, крикнув:

— Ничего я таскать не буду!

— Фадеич,— позвал Басаргин и вернулся в комнату. Здесь Саша заваривала чай. Он сел. Лида стала его добинтовывать.

— Все не привыкну тебя называть Сергеем,— Саша хотела что-то спросить у него и не решалась.

— Зови Лузгой, тебе можно.

Вошел Фадеич.

— Копалыча надо похоронить здесь,— сказал Басаргин.— Мне надо знать, где его могила.

— Не могу. Как определенного на поселение... Надо предъявить власти.

— Ты пристанью командуй, людям ты не начальник. Копалыча похороним здесь.

— Как капитан рейда...— начал Фадеич.

Лузга взял со стола ту самую ложку и с такой силой воткнул в столешницу, что труба на самоваре покосилась. Фадеич притих. Саша с отвращением посмотрела на ложку, подняла с пола свитер.

— Пойду постираю.

Она вышла. Лида кончила бинтовать Басаргина, склонилась и поцеловала его плечо. Он опустил голову.

Фадеич и Басаргин пили чай. Басаргин сидел на том месте, где вчера пил чай Манков.

— Сильно тебя? — спросил Фадеич.

— Скользнуло по ребрам.

Помолчав, Фадеич стесненно сказал:

— Лузга... э-э, то есть, Сергей Петрович, вот спросят тебя — там! — как все было, а ты возьми и скажи: мол, я, ну — Сергей Петрович, мол, выполнял указания капитана рейда. А?

Басаргин спросил его, думая о своем:

— Говорили, у тебя есть белая сорочка, крахмальная.

Фадеич удивился ходу его мысли, но полез в сундук и извлек белую сорочку и постукивающий пристежной воротничок.

— Я надену,— сказал Басаргин.

— Бери, конечно,— Фадеич решил, что понял.— А там, значит, так и скажешь: мол, приказ был...

Басаргин надел сорочку, пристегнул воротничок перед зеркальцем, вгляделся. Двенадцать лет не надевал он ничего подобного!

Вошел маленький дед с небольшим осетром.

— Бери рыбу, Фадеич, с ледника сняли, ночь теплая, надо есть ее.

— Всех снесли? — строго спросил Фадеич.

— Ага. Семерых. Весь ледник заняли. Манкова втроем еле подняли. Как каменный. Ох, мужик был!.. А Якова положили в доме. Старухи там по-своему: свечки... все...

— А Копалыча? — спросил Басаргин.

— Дак со всеми, на лед.

— Тогда почему семь?! Тех шестеро, Манков и Копалыч — должно быть восемь.

— Дак семеро там — собрали-то всех.

— Где оружие? — Басаргин быстро огляделся.— Там был «ТТ».

— Оружие нельзя,— твердо сказал Фадеич.

— Дай ключи!

— Оружие, можно сказать, опечатано, по закону...

— Дай! — Басаргин надвинулся на него.— Ты что, не понял, что один где-то здесь?

Фадеич испуганно завертел головой.

И тут до них донесся короткий, захлебнувшийся вопль, а сразу вслед протопали по палубе тяжелые шаги Лиды.

Басаргин вырвал из столешницы ложку, выбежал и бросился с пристани на берег.

Темнота была еще не полной, да и освещенные окна дебаркадера добавляли света. Басаргин быстро догнал Лиду. Далеко бежать было не надо.

Саша лежала на песке у самой воды. Голова ее была накрыта мокрым свитером. Лида упала на колени, открыла лицо дочери, приникла к нему и, дернувшись назад, застонала.

Склонившийся над ними Басаргин услышал скрипящий шорох сдвигаемой по песку лодки и, вглядевшись, увидел контур манковской моторки, а над ним — сгорбленную фигуру. Басаргин побежал.

Барон не успел поставить лодку на воду.

Белая рубашка бегущего Басаргина была хорошо видна в сумерках. Барон присел за лодкой и выцеливал бегущего, положив «ТТ» на борт. Басаргин приближался. Барон выстрелил и не попал. И тогда Басаргин пошел на него короткими бросками.

Вправо, влево, вперед! Влево, вперед, вправо...

Барон выстрелил. Еще...

Белая сорочка бесшумно порхала в сумерках, как огромная ночная бабочка. А над рекой все тянулся воющий стон Лиды.

Барон увидел, что в руках у Басаргина нет ничего существенного, встал и тщательно прицелился, держа пистолет двумя руками.

Вправо — влево — выстрел!

Вперед — влево...

Барон испугался, заторопился: выстрел, выстрел!

Один патрон остался. Но он не успел его использовать.

Огромная бабочка взмыла в сумеречном воздухе и накрыла Барона.

Лида сидела на песке молча и гладила голову мертвой.

Басаргин подошел, постоял, отвернулся. Белая сорочка была в крови и грязи, он сорвал ее с себя и бросил в воду.

Потом он сидел один у большого костра и смотрел на огонь. На косо воткнутую палку был насажен осетр. Жар костра стягивал рыбе кожу, и плавники зашевелились.

Долго сидел Басаргин, не замечая, что рыба обуглилась.

На следующий день хоронили троих.

Кладбище — могил двадцать — было в разреженном высокоствольном сосняке.

Похоронили деда Якова.

Потом Копалыча.

Потом хоронили Сашу. Бросили в могилу по три горсти земли. Засыпали. Оббили лопатами ровный холмик. Басаргин принес пригоршню песку и медленно высыпал на могилу.

Лида не плакала. Стала возле могилы на колени и застыла, глядя вниз.

Пошли назад. Отойдя немного, Басаргин оглянулся.

Стоя на коленях, Лида говорила вниз, земле, пальцами и лицом.

В коридор большой московской коммунальной квартиры доносилась из дальней комнаты знойная песня Лолиты Торрес из фильма «Возраст любви». Вот звук исказился — кончался завод патефона. Послышался смех, стали заводить на ходу.

Раздались три звонка. Из ближней двери вышел человек лет сорока в очень сильных очках, с забинтованным горлом. Открыл.

На пороге стоял Басаргин. В старом ватнике, с вещевым мешком на плече. Гладко выбритый.

— Мне нужны Старобогатовы,— сказал он, внимательно оглядывая открывшего.

— Ммм... По какому вопросу?

— По самому важному,— сказал Басаргин и шагнул в квартиру.

Не дождавшись внятного приглашения, он сам вошел в комнату. Из нее дверь вела в смежную, более освещенную. В этой же комнате центром был письменный стол с ярким кругом света от лампы, заваленный стопками книг, исписанными листами, из-под которых еле видна была машинка «Москва», вокруг стола был полумрак.

— Новейшая история,— едко сказал Басаргин.

Из смежной комнаты вышла женщина лет шестидесяти. Замерла, глядя на Басаргина. Из-за ее спины мальчик лет тринадцати с интересом посмотрел на гостя.

— Вы жена Николая Павловича? — спросил ее Басаргин.

— Нет! — быстро сказал мужчина.

Басаргин медленно повернулся к нему.

— А вы — сын?

Тот дернул головой, уводя взгляд, как бы просто не желая вести разговор, быстро прошел вперед, увел мальчика в другую комнату и закрыл за собой дверь.

— Вы привезли письмо? — бесцветно спросила женщина.

— Нет, — Басаргин достал самодельный Копалычев очешник и положил на стул, почему-то отодвинутый на середину комнаты.— Вот — это все.

— Мама, ничего не брать! — в приоткрывшуюся дверь сказал сын.

— Там написано, как найти могилу,— терпеливо сказал женщине Басаргин.— Три года назад Николай Павлович погиб в бою. Он реабилитирован посмертно.

Она стояла неподвижно. Сын вышел, остановился у притолоки. Они смотрели на него.

— «В бою»,— тихо сказала женщина.— Это возможно?

— С оружием в руках. Против мрази, Спасая людей,— твердо сказал Басаргин.

— Спас? — хрипло спросил сын,

— Да. Спас.

Басаргин дошел до трамвайной остановки. Сырой весенний день близился к вечеру. В кинотеатре кончился сеанс, вытекавшая толпа была весело возбуждена.

На противоположной стороне улицы стоял человек в парусиновом плаще не по росту, с деревянным кустарным чемоданом. Человек встретил взгляд Басаргина, отвернулся.

Из кинотеатра валила толпа. Притиснутая к Басаргину женщина в чернобурке опасливо отстранилась от него. Басаргин отошел к стене дома.

— Огонь есть?

Перед ним стоял тот человек в плаще. Сухое узкое умное лицо. Сорок или шестьдесят — не понять. Басаргин достал спички. Тот поставил на землю чемодан и извлек

из кармана коробку папирос «Герцеговина Флор». Басаргин посмотрел на коробку. Они переглянулись, взяли по папиросе, закурили. Стояли молча. Потом тот кивнул, поднял чемодан, словно решившись, и быстро зашагал по улице. Он долго еще был виден в праздной толпе.

Грибы были хороши! Крепкие боровики, толстенькие красные.

Дочь чистила грибы. Зять разводил костер. Внучка ловила в траве кузнечиков.

А старик Басаргин чистил у реки рыбу. Наловил он мелких окуней и плотвичек. Чистил, промывал и клал в котелок. Подошла внучка, ей было пять лет.

— А это кто? — Она показала ему ладонь.

— Какая-нибудь насекомая,— он глянул мельком, но тут же снова повернулся, взял ее ладонь, вгляделся в прозрачного мотылька.

И встал.

Солнце садилось за лес на том берегу, река была уже в тени, и в этом темном воздухе над водой бесшумно танцевали тысячи прозрачно-белых мотыльков.

— Дед, почему так?

Басаргин глядел на быстрые круги от рыбы, покрывавшие всю воду.

— Это поденки,— сказал он.— Их личинки три года живут на дне, а потом превращаются в этих мотыльков и все разом взлетают.— Он помолчал.— На немного минут.

Она была поражена.

— А потом?

— Падают обратно в воду.

— И потому — круги?

— Нет. Это их едят рыбы.

Она задумалась. Потом, потрясенная, прошептала:

— И все?!

— Нет. Они снова проживут на дне, наберут сил, а потом взлетят. А потом снова, и снова... И род их не прервется.

Старик, задумавшись, смотрел далеко — за реку, за лес. Белесая половинка луны в слабо-синем небе казалась случайным мазком.

Но чьей кисти?

Небо темнело, звезд еще не было, но время их подходило.

Гонорар за данную публикацию
автор просит перевести на расчетный счет
№ 340000702527 в ОПЕРУ 1 Жилсоцбанка Ленинграда
на памятник жертвам репрессий 20—50-х годов.



Вступление рок-дилетанта

Пока рок-дилетант ездил в отпуск, его друзья и коллеги успели насочинять массу рецензий, так что, вернувшись, оставалось только сдать их в печать.

Отмечу, что наряду с известным уже читателям молодым критиком Бэвидом Доуи, которому рок-дилетант поручил ознакомиться с казанскими группами (почему именно казанскими — объяснить трудно), появился еще один новый для нас рок-журналист, избравший себе оригинальный псевдоним П. Монстер. Как бы не пришлось нам вскоре переименовывать «МЭ» в «Музыкальный бестиарий»! Но что поделаешь — сочинения, подписанные замысловатыми псевдонимами, тоже одна из традиций рок-культуры.

Надеюсь, что в следующем выпуске «МЭ» мы подведем окончательные итоги конкурса на лучшую запись. А пока прошу пожаловать в очередной

Тур семнадцатый:

ОТПУСКНАЯ ПОЧТА РОК-ДИЛЕТАНТА

Нина Барановская — рок-дилетанту

Помнится, главная цель нашего конкурса — отыскать таланты не только в признанных рок-н-ролльных столицах, но и в провинции, ибо там они больше других нуждаются в помощи. И вот передо мною катушка с записью «Группы продленного дня» из Харькова.

«Ой над полями да над лесами русскими несется песня вольных пацанов» — эти слова, обращенные группой «ГПД» к своим рок-собратьям, как нельзя лучше характеризуют дух и суть их музыки. В то время как некоторые наши признанные правдолюбцы порой начали взвешивать, чья правда дороже стоит, в то время как

«черствая досада да уныние» стали нередкими гостями на рок-подмостках, музыка этих ребят действует, как сбивающий с ног порыв ветра, не только несущего пыль и сор, но и освежающего, стряхивающего хандру и лень, возвращающего веру, что на этой земле никогда не переведутся добры молодцы, готовые за счастье и правду не пожалеть живота своего. Таков мощный энергетический заряд их песен. Они чутко улавливают связь своего поколения со всей российской историей, но, гордясь принадлежностью к великой стране, не забывают о том, что в ее истории было много кровавого и уродливого. Боль за страну и вера в нее — вот главное в их песнях.

Трудно выделить какие-то отдельные номера в альбоме «Положение дел». И гневная песня «Паук», и полная мужества и достоинства «Правда» хороши каждая по-своему. Полные высокого гражданского пафоса песни уживаются с лихим, насыщенным горьким юмором «Рабочим рок-н-роллом»: «Мы даем стране металл, но как я устал, Клава, как я устал!», с едким сарказмом монолога «Завотделом культуры». Одной из самых значительных песен о люберах, провозгласивших культ силы, точнее, насилия, о чем уже сказали свое слово Шевчук, Рикошет и другие, показалась мне песня на эту тему у «ГПД». Гэпэдэшники четко выстраивают генеалогию люберства как явления. Они видят неразрывную связь их появления на арене с наследием политики террора и репрессий в годы культа Сталина: «Играли в террор и доигрались — получите преступников в красной материи».

«Россия» и «Цыганочка» наряду с «Правдой» — программные вещи альбома. В них — вызов тем, кто все еще надеется, что «был и будет холопом Иванушка», в них боязнь, что одолеет нас «деградация духа», что сегодняшние социальные пороки, которые мы сами же и допустили, могут стать «эпитафией» великой стране.

Музыка харьковчан тяготеет к традиции: хард-рок, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в нашем отечественном роке ребята симпатизируют музыке «Облачного края» и «ДДТ». Играют они очень крепко, профессионально. Тщательно продуманы аранжировки. Хочется отметить замечательный вокал Саши Чернецкого — неистовый, мощный, боевой. Зная о том, как тяжело обстоят дела у Саши со здоровьем, как трудно ему не только петь, но даже просто стоять на сцене (а кому бы это пришло в голову, когда «ГПД» с необыкновенной энергией и отдачей выступала в Ленинграде на 6-м рок-фестивале?!), я восхищаюсь не только его гражданским, но и чисто человеческим мужеством. Саша и автор многих текстов. Его перу принадлежат как раз программные песни альбома. Их прекрасно дополняют полные юмора тексты Паши Михайленко — второго вокалиста и басиста группы. «На уровне» — все музыканты.

Ребята из «ГПД» лишний раз убедили меня, что в искусстве нет столиц и нет окраин. Провинция — не место жительства, а склад мышления и чувствования. И не может не радовать, что в тех условиях, в которых рок-музыка живет в Харькове (вспомните сюжет из программы «Взгляд»), а точнее, не живет, а несмотря ни на что существует, появилась настолько яркая и самобытная группа. А может быть, потому и появилась?

Нина Барановская

Анатолий Гуницкий — рок-дилетанту

Представляю, как будут плеваться панки, послушав альбом «Апрельского марша» из Свердловска! И не только панки... Ведь

в «Музыке для детей и инвалидов» нет дешевой публицистики, заполонившей современный рок. Поют об одном: «Даешь политику!», или «Даешь перестройку!», или «Даешь перестройку перестройки!» Музыканты «Апрельского марша» явно предчувствовали упреки в академизме и эстетстве и с юмором предназначили свой альбом детям и инвалидам.

Знающий человек сразу разберется в чем тут дело: группа принадлежит к свердловской школе с ее традиционной ориентацией в первую очередь на музыку. Типичные признаки этой школы: композиционная выверенность, сильный, красивый, правильный вокал, ведущая роль клавишных инструментов. Рок-классицизм? Если угодно, да. С присущими любому классицизму достоинствами и противоречиями. При таком подходе, например, непосредственность, спонтанность, импровизационность отходят на второй план, меньше новых, рискованных идей... К «Апрельскому маршу» вся эта философия имеет непосредственное отношение. Они играют музыку весьма традиционную, ее корни в арт-роке, но благодаря серьезному отношению к делу найден свой поворот темы. Получилось нечто вроде тяжелого арта...

Ну а теперь посмотрим, что же конкретно приготовил «Апрельский марш» для сирых и слабых?

Первая песня — «В ожидании Годо». Сюжет к пьесе Семюэля Беккета имеет косвенное отношение, здесь обыгрывается ситуация ожидания. В этой песне есть все, типичное для «инвалидной» музыки: отсутствие случайных, «лишних» звуков и необязательных проигрышей; звучание насыщенное, тембрально богатое; несомненный пиетет перед классикой; изощренный мелодический лабиринт: все рассчитано, продумано, отшлифовано.

Но в альбоме есть и недостатки (оборотная сторона академической методы): иногда не хватает живости в драйве и малой толики попса, нет концептуальной целостности. Несколько песен не очень удались из-за текстовой надуманности, слово как бы «выпадает» из музыки, получается грубовато и прямолинейно. А вообще-то Е. Кормильцев пишет интересно, у него встречаются и неожиданные метафоры и тонкая ирония.

Несомненные удачи альбома: «Нежность — это я» (иронический гимн плоти, завораживающей своим безудержным энергетизмом; герой песни отождествляет себя с Полифемом, мифологическим циклопом, не очень гостеприимно встретившим Одиссея, — еще одна литературная реминисценция), загадочная «Слоновая кость», инструментальная «Анимация», упомянутое «В ожидании Годо» и медитативная «У этой реки» (музыка и текст Б. Ино, перевод Е. Кормильцева).

Самый же грандиозный номер, высшая точка альбома — «Котлован». Название песни и ее трагический колорит вызывают неизбежные ассоциации с романом Платонова (третья литературная реминисценция!). Вокал Натальи Романовой — это высочайший уровень, нечто фантастическое, модуляции ее голоса в низком регистре буквально переворачивают сознание, «кроваво-красный котлован» ощущаешь физически! Ничего более страшного и одновременно возвышенного я в нашем роке еще не слышал. И хорошо, что она поет соло только одну песню, тут любые сравнения и контрасты были бы неуместны.

Если бы «Апрельский марш» записал один только «Котлован», он бы и тогда вошел в историю. А тут целый альбом — классная, профессиональная работа! Я очень надеюсь, что эта самобытная

группа еще не раз заставит говорить о себе и да минует ее коммерческое болото филармоний и «парков Горького»!

Анатолий Гуницкий

П. Монстер — рок-дилетанту

Алексей Вишня, музыкант «Поп-механики» и звукооператор группы «Мифы», записал альбом «Сердце». Он проявил максимум профессионализма и записал все в одиночку, разве где жена Лена подпела и подыграла на клавишах, где помог гитарист Сергей Богаев из «Облачного края», да еще заморская русалка отсчитала первые такты песни «Расческа». Вот, знай наших!

Послушал я первую сторону, начало второй и подумал: а стоило ли Леше так напрягаться? Разве это рок? Это же какой-то подарок дискотечникам (кстати, Алексей на полном серьезе признавался мне в своей любви к музыке диско) и шустрым кооператорам.

На другой день я понял, что не разглядел в Вишне тысячеверстого скакуна. Во всем альбоме прослеживается внутреннее единство — в музыке и в тексте. Зачем иначе Алексею, который сам вполне справляется и с тем и с другим, было брать чужой материал? «Сансара» — песня Димы Ревякина из «Калинова моста» (правда, Вишня и сюда подсыпал диско), «Изобилие благовоний» написал С. Богаев, а слова «Весны мертвецов» — классический пристеб покойного Саши Черного.

Похоже, что Леша подбирает все, что может работать на его иронический, если не пародийный, замысел.

Представляю, как сейчас взовьется Леша! «Я же говорил — скажет он, — что никого не пародировал!» Позволь, Алексей, с тобой не согласиться.

Второй план очевиден. В «Шао-мяо» прослушивается БГ, в «Вурдалаковом гимне» — Кинчев и К°, в «Сегодня ночью» — Цой. Музыкальные и текстовые намеки равномерно наполняют весь альбом. В полный рост оттянулся я, когда опознал, откуда это: «Гроза. Слеза. Вода. Никогда». Перелицовка моих любимых строк из «Реки» БГ. Да и вообще, в альбоме все есть: и псевдо-Китай, и псевдо-Индия, немного тантризма, немного вампиризма, любовь и такая и этакая, романсовый слог прошлого века, и Лори Андерсон вкупе с Амандой Лир, и много чего еще.

Ну и для чего все это?

На мой взгляд, самая большая находка альбома — его лирический (он же иронический) герой. Теперь представляю, как взовьются мои знакомые литературоведы, для которых рок по-прежнему находится на стыке холодного пива, уличного хулиганства и промискуитета!

Алексей строит модель мозаичного сознания тинейджера, в котором варится все, что он увидел и услышал, с поправкой на то, чего он хочет или, наоборот, боится.

Молодец Вишня! Он точно догадался, что было со мной годков эдак в 15 (прости, любезный рокер, мемуариста-маразматика!): и подыграть на плясах охота, и таинственного Востока, и женщину-вамп — «Своим телом ты могла бы вскипятить Байкал». И рядом вдруг замаячила тень безносой... Да, он не боится произносить косноязычные пошлости. Это стиль, таковы «чужие слова» детишек, маски которых он надевает.

Когда же маска снята, разговор идет по-другому и о другом.

Слова просты как мычание, но смысл их жесток и неожиданен, но музыка весела.

Спасибо, «Сердце». Спасибо, Вишня!

У Алексея в работе новый альбом.

Алек Зандер — рок-дилетанту

Перво-наперво, состав в альбоме «Мифологи» можно с некоторой натяжкой назвать «Мифами», ибо «Мифы» в нашем устоявшемся представлении — это равноправный тандем Геннадий Барихновский — Сергей Данилов. Данилов же на альбоме не издал ни одной ноты, хотя является автором шести песен. Это, а также тот факт, что сразу после выхода альбома Данилов и Барихновский воссоединились на концертах, несколько примиряет с отсутствием Сергея.

Остальные же музыканты — это ансамбль «Лотос», давший свой последний концерт году в 1976-м, и с тех пор играющий по кабакам. В данный момент они вместе с Барихновским трудятся в кафе «Север» на Невском.

Последний факт, несомненно, наложил отпечаток на звук альбома. Уклон в попс-звучание добавил и звукооператор Вишня.

Но, как заявляет сам Барихновский, такое звучание полностью входило в планы. «Я не собираюсь заниматься ностальгией, как Рекшан, играющий те же вещи, на том же звуке, что и пятнадцать лет назад!» Вот странно! Зачем же тогда «Мы одиноки», «Река», «Мэдисон-стрит»? По поводу первой я еще могу понять: она записана по-другому, как мне кажется, хуже, холодно-отстраненно, что подчеркивается прерывистым ритмом и электронными барабанами. Две же другие песни записаны в тех же аранжировках, только гораздо скучнее и без той живинки, которая всегда отмечалась у «Мифов».

Из относительно новых вещей стоит выделить отличные ритм-энд-блюзовые «Ты, конечно, не приедешь» и «Тучи» — чуть ироничная лирика пожившего человека. Ну, а главный хит «Коммунальная квартира» — вспоминаются старые, добрые «Мифы» с их энергетическим напором. Другое дело, что этот номер, как и весь альбом, обращен в прошлое — коммунальная квартира очень отличается, например, от коммуналок Федора Чистякова.

В этом и заключается главный недостаток альбома: современная подача, даже танцевальная, и — не адекватные танцам песни.

Просто «Мы одиноки» и «Мэдисон-стрит» были гимнами того, волосатого поколения. Ничего удивительного, если нынешнее поколение будет танцевать под них, но музыкантов, которые своими аранжировками сами предлагают это, я понимаю с некоторым трудом.

Геннадий Барихновский прокомментировал нынешний этап «Мифов» так: «Мы никого не удивим сейчас, но мы воюем на уровне». Что ж, в чем-то он прав. «Мифология» — альбом крепкий в коммерческом отношении. Но все же, я надеюсь, что альбом будет неким переходным периодом. Возвращение Сергея Данилова и гастрольная деятельность дают к этому основания.

Старый рокер — рок-дилетанту

Говорят, что альбом «Так я стал предателем» плохо сведен... Может быть, в самом деле звучит слабовато, как, впрочем, у всех,

кто записывается в студии ЛДМ. Но все-таки, у «Аукциона» наконец-то появился студийный альбом и можно сосредоточивать свое внимание на собственно музыке. Кто бывал на концертах «Аукциона», тот знает, что это в первую очередь шоу.

Но альбом — совсем другой расклад. Сначала очень непривычно слышать знакомые песни и не видеть при этом трепетного Гаркушу, однако зрелое мастерство музыкантов быстро настраивает восприятие на аудиоэмоции. На концертах, увы, о многом приходится догадываться. А на альбоме, несмотря на «недосведенность», вполне очевидны изобретательные аранжировки, пластичность музыки и неплохое чувство стиля. Вслушиваюсь в альбом более внимательно и... обнаруживаю «пустые места». Эксцентрика, ирония, хлесткий стеб всегда были главным орудием в аукционовском арсенале, почему же на этот раз они выглядят как-то бессодержательно, плоско? Мелодии в ряде песен слишком уж витиеватые, надуманные, тексты — чересчур заумные, густо переполненные невнятным содержанием. Для усиления экстравагантности по всему альбому разбросаны миниатюрные вставки, всякие «буль-буль», «пу-бмп-п» и т. д. — не смешно, неинтересно, подлинный абсурд должен быть легким и изящным. Вспомнились «Странные игры» в финальной стадии, там тоже было все очень здорово в смысле формы и — очень скудное, бессмысленное содержание. Здесь примерно та же ситуация.

Пол Маркхэм сказал однажды: «Незачем относиться к рок-н-роллу чересчур серьезно, это не политическая доктрина и не религиозная проповедь, но будет все же досадно, если он выродится в обычный поп-мьюзикл». Да, рок многообразен и не сводится к двум-трем концепциям, только хотелось бы, чтобы талантливые музыканты «Аукциона» играли что-нибудь более значимое, нежели «Лиза» или «Мальчик как мальчик». А в том, что они на это способны, я не сомневаюсь, достаточно послушать «Новогоднюю песню» или «Вечер мой». Так что стоит ли размениваться на всякие пустячки?

...Итак, снова «Аукцион»! Дискография группы растет стремительными темпами — еще не успел разойтись по городу предыдущий альбом, как появился следующий, «Вернись в Сорренто». В него вошли хорошо знакомые песни из легендарной аукционовской программы 86-го года — «Волчица», «Деньги — это бумага», «Рабочее утро», «Шестой этаж» и т. д., поэтому альбом является своеобразной ретроспективой старых хитов. Впрочем ретроспективным он стал поневоле, так как в черновом виде был записан гораздо раньше. Однако для окончательного сведения долго не было подходящих условий, пока в руки к музыкантам не попала порто-студия. В приличных местах на порто-студии альбомы не пишут, но... что делать? Качество записи, конечно, получилось не очень (хотя слушать можно).

Поскольку содержание альбома хорошо известно по многочисленным концертам и отзывам об этих концертах, нет смысла его анализировать в деталях. В целом же «Вернись в Сорренто» получился лучше, чем «Предатель», нет ничего лишнего и заумного, все песни удачно скомпонованы. Некоторые записаны еще с Рогожиным, что сразу чувствуется: как говорится, каждому свое, однако жаль все же, что сразу этот одаренный певец погряз в коммерческом и бессмысленном «Форуме». «Аукциону» же теперь порою ощутимо не хватает полноценного вокала. Возвращаясь к «Сорренто», хочу добавить, что если бы он был выпущен раньше, чем составлялся

авроровский альбомный топ, то смог бы занять в нем не последнее место.

Ст. Рокер

Бэвид Доуи — рок-дилетанту

Уважаемый рок-дилетант!

Что за странная затея — делить группы по региональному признаку! Взаимопроникновения и откровенной подражательности вроде ливерпульских команд периода «битломании» мы днем с огнем не сыщем. Особенно принимая во внимание полуконспиративный способ их существования вне признанных лидеров рока. Что наглядно демонстрируют три вызывающе разноплановые группы из города Казани. Их объединяет, пожалуй, одно — полное неприятие фальши и лицемерия, оболванивания и обаранивания, по уши в которых мы сидели все эти годы. В провинции, не избалованной демократическими свободами и хорошим снабжением, все это, знаете ли, просто прет наружу.

Группа «Мак» играет электронный, ньювэйвовский авангард. Ребятам, вероятно, осточертело слушать «Утреннюю почту» и экзерсисы московских металлистов и они, в отместку, такого наворотили! Ритмические сбивки, ошеломляющие диссонансы просто вопят о неприятии лощеной и гладенькой телевизионной эстрады. Король «новой волны», саксофон, истошно визжит проклятия миру скуки и равнодушия. Абсурд, абсурд в квадрате правит бал среди ханжей и невежд. Музыка группы эпатирует уравновешенных, издевается над трезвомыслящими, терзает законы музыкальной логики и наши уши своей извращенной прелестью. Нас вводят в патологически изломанную, странную реальность, где диссонанс — норма, а гармония — уродство. Это песни о том, как мертвый, мир «Часов» и «Маятников» лениво перемалывает людишек в своих механических потрохах. Этот мир безумен, его музыка не может быть иной! В общем — очень сильно! Правда на «Телевизор» все равно похоже. Если «ТВ» сойдет с ума и отправится на поселение в Казань, то может получиться нечто подобное альбому «Маятник». Хотя группа «Мак» явно задушевней. Особенно мелодичная и проникновеннейшая кода альбома — «Дождь». Есть еще порох в наших лирических пороховницах! Уж не знаю, провинция, что ли, так влияет? Тексты группы — интеллектуальная шизуха, короче критика действительности с крайне правых позиций «искусства для искусства».

А вот пример критики слева. Группа «На-на-на» играет панк-рок. И это здорово! По-моему, в условиях карточной системы на масло, колбасу и сахар лучшая форма самовыражения — это панк! Играют просто и демократично — без затей. За исключением джазовоизысканной «Тоски» — в ней изящная мелодика чудно контрастирует с предельно вызывающим нигилистическим текстом. Во всех других темах нигилизма тоже выше крыши — но лучше так, чем пребывать в розовом тумане. Отличная рок-н-ролльная основа большинства песен, классная ритм-секция, своеобразный родстюартовский вокал лидера «На-на-на» Димы Жданова — залог успеха группы. А «Шок» — просто супербоевик советского панка! Возможны упреки — мол, дескать, стилистика панка не соблюдена, все слишком пристойно. Но мне кажется, что панк не исключительно привилегия бомжей и прочих деклассированных элементов. Это музыка тех, кому все обрыдло. Это апофеоз искренности и саморазрушения.

А играть ребята научились! Так что ж им сейчас в арт-рок податься? Одним словом: «Браво, „На-на-на"!» И дай вам бог творческого долголетия.

Следующим номером нашей программы — «Холи в натуре». Вот и до ливерпульского мерси-бита доехали, тонко упомянутого в начале письма. Простенько, мило, традиционно — весь малый джентльменский набор. Стилизованные распевки, аранжировки а ля Бадди Холли — какая жалость, что Брайан Эпштейн никогда не бывал в Казани! Он лопнул бы от зависти в своем дурацком Ливерпуле! Порою «Холи» показывают зубы («Гномы»), но очень ненавязчиво, и это в кайф. Безусловно, «Холи» наименее крутая из всех вышеперечисленных команд. Но ведь одной крутизной сыт не будешь. Все хорошо в меру. И «Холи» — одна из ипостасей великого и могучего отечественного рок-движения и к чистым развлекателям их отнести нельзя. А барабанщик Г. Казаков вообще редактор самиздатовского журнала «АудиХоли». Ох, и достанется мне от него на орехи! Ведь его способности рок-журналиста намного превосходят достижения на барабанном поприще!

Вот такая пестрая картинка получается. В одной Казани можно почерпнуть информацию о самых разнообразнейших рок-направлениях. Музыканты не упираются рогом в металлический долбеж или в аквариумистические загибы, которые у всех на слуху, а делают ту музыку, что им нравится. Но самое отрадное — у них эта музыка получается. Вероятно, каждая команда имеет свой круг поклонников и мирно сосуществует со своими собратьями во роке. Лично меня все это приводит в телячий восторг! А Вас?

С уважением — Бэвид Доуи

Андрей Гаврилов — рок-дилетанту

Судя по всему, хит-парад журнала «Роллинг стоун», опубликованный в нашем Тринадцатом туре, вызвал немалый интерес наших читателей. По крайней мере, число писем тех, кто заметил в нем опечатки, явно превосходит количество откликов на обычный материал. Опечатки ладно, это дело житейское, как говорил Карлсон, тем более что у тура был несчастливый номер. Но две досадные неточности мне хотелось бы исправить.

Пластинка Леннона «Imagine» — на 61-м месте. А на пропущенном 75-м — диск Эла Грина, который так и называется «Эл Грин».

Вы не раз сетовали, уважаемый рок-дилетант, на то, что мы с Вами никак не можем поспеть — из-за полиграфического цикла журнала — за происходящими событиями. Увы, Вы правы. Наш Двенадцатый тур еще не поступил подписчикам, а в Москве уже появился новый самодеятельный рок-журнал. Впрочем, сейчас стираются грани между понятиями самодеятельный и несамодеятельный. Раньше, по крайней мере в Москве, авторы статей в журналах почти всегда скрывались под псевдонимами, издатели были неизвестны. «Сдвиг» — так называется новый журнал — отказался от этой практики. Издается он Московской рок-лабораторией. Все статьи подписаны. Немало фотографий. Я не знаю, на чем он печатался, но у него весьма приятный, несколько пижонский, «компьютерный» облик. В центральной статье журнала, занимающей большую часть его объема, дается, в частности, очень интересный взгляд на ленинградский рок глазами московского рокера.

Появилось и еще одно любопытное издание. Во второй половине

мая этого года в Вильнюсе проходил фестиваль «Рок-форум», в котором участвовали такие группы, как «Ва-Банкъ», «Звуки Му», «Вежливый отказ» и «Веселые картинки» из Москвы, «Алиса» и «Телевизор» из Ленинграда, «Чай-ф» (Свердловск), «Калинов мост» (Новосибирск), «Вопли Видоплясова» (Киев), «Группа продленного дня» (Харьков), «Зартипо» (Минск), «Не ждали» (Таллин) и П. Андерсон из Риги. Хозяева были представлены группами «Мигла» и, конечно же, «Антис». Участвовали также ансамбли из Чехословакии, Финляндии, Польши, Венгрии, Великобритании и ФРГ.

К моему большому сожалению, мне не довелось присутствовать на «Рок-форуме». Но информацию о нем я имею, в общем, исчерпывающую, благодаря сборнику «Рок-форум. Вильнюс-88», изданному по следам фестиваля. Фотографии, интервью, официальная программа, высказывания и восклицания публики, краткие характеристики групп, статьи на «общекультурные» темы — вот что занимает его почти 90 страниц. Его выпустило экспериментальное объединение по организации досуга молодежи «Центрас», и хотя, строго говоря, это сборник, а не журнал, я думаю, у него будет продолжение.

Надеюсь, рок-дилетант, я Вас чуть-чуть отвлек от конкурсов и хит-парадов и Вы смогли передохнуть.

С уважением, Андрей Гаврилов

Справочное бюро «МЭ»

«Группа продленного дня» (Харьков)
Альбом «Положение дел» (1987)
«Паук», «Правда», «Рабочий рок-н-ролл», «Завотделом культуры», «Любер», «Россия», «Цыганочка»
Состав группы: Александр Чернецкий (вокал, тексты), Павел Михайленко (бас, вокал), Олег Клименко (гитара, вокал), Евгений Обрывченко (клавишные), Владимир Кирилин (ударные).

Группа «Апрельский марш» (Свердловск)
Альбом «Музыка для детей и инвалидов» (1987)
«В ожидании Годо», «Слоновая кость», «Соответствие», «Когда его никто не видит», «Котлован», «У этой реки», «Агропром», «Дантист», «Милиция», «Нежность — это я», «Анимация».
Состав группы: Игорь Грищенков (клавиши, вокал, музыка), Сергей Елисеев (бас), Игорь Злобин (барабаны), Юрий Ринк (гитара), Наталья Романова (вокал), Михаил Симаков (пение, флейта), Евгений Кормильцев (текст).

Группа «Аукцион» (Ленинград)
Альбом «Так я стал предателем» (1988)
«Мальчик как мальчик», «Мертвый охотник на мертвых», «Выводят», «Осколочный сон», «Полька», «Буль», «Вечер мой», «Лиза», «Пу-БРМ-П I», «Бомбы и демонстрации», «Пу-БРМ-П II», «Нэпман», «Лети, лейтенант», «Гаркуша», «Новогодняя песня», «Музыка для пения».

Группа «Мак» (Казань)
Альбом «Маятник» (1987)
«Жень-Шень», «Часы», «Красная зона», «Музыка электричества в нервах», «Жмурки», «Мак», «Никах», «Струны неба», «Фана», «Безопасный солдат», «Н-оль», «Капля яда», «Дождь».

Группа «На-на-на» (Казань)
Альбом «Рок-волна при полном штиле» (1987)
«Кто», «Казанский разгильдяй», «Тоска», «Больничный герой», «Герои наших дней», «Рок-волна при полном штиле», «Хамелеон-дама», «Шок», «Ордена», «На-на-на».
Состав группы: Дима Жданов (вокал, гитара, музыка, текст), Рафик Айметдинов (гитара), Сергей Кузнецов (бас), Женя Толстяков (барабаны).

Группа «Холи» (Казань)
Альбом «Холи в натуре» (1987)
«Те, которые едят бобы», «Мэри», «Гномы», «Больница», «Между ножом и вилкой», «У края пропасти», «Белая горячка», «Иезуиты».
Состав группы: Дэвид Панов (вокал, гитара, музыка, текст), Артур Мустафин (бас, гитара, вокал), Макс Журавлев (соло гитара, вокал, муз., текст — 4), Гленн Казаков (барабаны).



КОМУ ЭТО НУЖНО?

1 августа на почте творилось что-то невообразимое. Стоять в очереди несколько часов не имела возможности, так как со мной был грудной ребенок. А на следующий день в подписке на «Аврору» мне было отказано. Пыталась подписаться на работе (в школе) — не вышло. На всю школу дали только один экземпляр. Не смогли подписаться ни муж у себя на заводе, ни бабушка, ни наши друзья. Так что остались мы без своего любимого журнала. И не только мы. А вы потеряли своих постоянных и верных читателей. Кому это нужно?

Т. Иванова,
г. Москва

...Позвонил в «Союзпечать», там ответили, что в городе 75 предприятий, а журналов «Аврора» спустили 30. Понятно, лимитирован, но не настолько же, чтобы 30 экземпляров — на город. Честно сказать, мы этому не поверили: абсурд...

Л. В. Кичко, инженер завода «Строитель»,
г. Молодогвардейск Ворошиловградской области

Готов подписаться на 5—10 лет вперед.

Ветеран подписки на «Аврору» Брий Владимирович Шпак,
г. Штоколово Приморского края

На весь район с населением свыше 100 тысяч человек выделено только 24 журнала. 15 из них розданы библиотекам. Ну а другие журналы получили «сильные мира сего».

Мне 25 лет и без вашего журнала я никак не могу. Помогите.

Мареич С. М.,
г. Калачинск Омской области

В нашей семье горе. Выписываем журнал уже много лет, он зачитывался нашей многочисленной (девять человек) семьей буквально до дыр (плюс давали читать всем друзьям, знакомым, соседям). А потом — после всеобщего прочтения — ставили на полку — на «вечное» хранение. «Аврора», помоги!..

Семьи Подгорновых, Денисенко, Капустиных, Алексеевых,
г. Москва

Почему приходится выписывать не то, что хочешь читать, а то, что тебе навязывают? Дефицит бумаги? Но ведь столько пустой литературы нагромождено во всех книжных магазинах и киосках. Какая нелепость!

Супруги Тимофеевы,
г. Алма-Ата

Ваш журнал играет огромную роль в воспитании мировоззрения моих дочерей-близнецов, подростков, которых я поднимаю одна. Помогите подписаться на «Аврору»!

С. В. Безрученко,
г. Севастополь

Помогите мне! Я больная одинокая женщина, и ваш журнал для меня, как луч света. (Выписывала многие журналы, но остановилась на «Авроре»).

Мартьянова Галина Ильинична,
пос. Зуевка Кировской области

Жизнь сложилась так, что после окончания Ленинградского механического института мы с мужем уехали работать в Казахстан. Дети тоже родились в Ленинграде, муж служил на Балтике. Находясь вдали от род-

ного города, мы с большим удовольствием читали свой журнал. Он был для нас связующей нитью с городом юности.

Вот почему очень расстроилась, получив отказ в Союзпечати. Ведь когда получаешь из года в год свой журнал, делаешь его подборку, следишь, как живет Ленинград, то возникает ощущение, будто побывал в любимом городе (в отпуск-то не всегда выберешься!). Дети — они уже почти взрослые: одному 19, другому 15 лет — тоже очень расстроились, что лишились своего любимого журнала.

Галина Иванова,
г. Капчагай, Алма-Атинская обл.

Являюсь инвалидом детства, нигде не работаю по состоянию здоровья, библиотекой пользоваться не могу. Поэтому могу только на вас надеяться в продлении подписки на журнал «Аврора». На почте мне в этом отказали.

Наташа Глухова, г. Москва

Выписываю «Аврору» со дня основания журнала, с небольшим перерывом, связанным с переездом из Ленинграда во Владивосток. Представляете, как я огорчилась, не подписавшись на 1989 год. На наше предприятие, где работает 500 человек, выделено два экземпляра...

Завируха Галина Васильевна,
г. Владивосток

...На протяжении многих лет собираю материалы по советской и зарубежной эстраде, и раздел «Музыкальный эпистолярий» считаю лучшим обзором отечественного рока в советской прессе. За эти годы привык к журналу. Интересующие меня материалы («Авроры» и других изданий) я оформляю в переплеты, получаются приличные на вид книжки. Надеюсь, когда-нибудь ими заинтересуются мои дети; готов поделиться ими со всеми, кого интересует становление советской музыки по годам. Но за 1989 год в них будет большой пробел. Самое обидное то, что на протяжении трех лет я расхваливал ваш журнал всем своим знакомым, тем самым увеличивал тираж «Авроры». За что и поплатился...

Виктор Кондратьев,
г. Снечкус, Литва

...Я не говорю, что «Аврора» мой любимый журнал, но за пять лет я к нему привык и без него мне будет неуютно! Правда, меня утешают: «Министерство предусматривает увеличение розничной торговли». («Известия», № 211 от 29.07.88 г.). Не знаю, как и где, а у нас в киосках Союзпечати журналы поступают со второй почтой, то есть в 10—12 часов дня. Это значит, что в 7.00, когда я иду на работу, их еще нет, а в 17.00, когда я возвращаюсь с работы, их уже нет. Вопрос: как рабочий человек может купить интересующее его издание, не имея блата?

Почему бы редакции «Авроры» не поступить так, как поступила редакция «Москвы», то есть — предоставить преимущественное право подписки на журнал тем, кто выписывает его постоянно.

С уважением — Корगененков Г. И.,
г. Запорожье

Вот такой, переполненной недоумением, разочарованием, гневом и болью оказалась наша редакционная почта в августе — октябре прошлого года. Сотни писем, телеграмм, телефонные звонки из самых разных городов, уголков страны — с Диксона, Камчатки, из Магадана, Прибалтики, Средней Азии. Просьба всюду одна: помогите подписаться на ваш — наш! — журнал.

Ход прошлогодней подписки с его рваным ритмом, с бросаниями от унизительных запретов к полному разрешению к концу года беспокоил и нас. Мы обратились с письмом в Министерство связи СССР, в котором просили предоставить первоочередное право подписки на «Аврору» хотя бы тем читателям, которые предъявят прошлогодние квитанции. Последовал отказ. Основание: данная мера (цитируем) «не будет соответствовать принципу социальной справедливости, так как это исключит возможность подписаться новым читателям».

Не будем вступать в полемику с ответственными работниками Министерства связи по поводу их неуклюжего желания «обаврорить» некое невозможное для подсчета число «новых читателей» за счет постоянных подписчиков. Именно это, на наш взгляд, и было вопиющим нарушением принципа социальной справедливости — в первую очередь с нравственной стороны.

Тут не полемизировать надо, а строго анализировать. Поэтому слово — специалистам Института книги из Москвы, которые провели исследование развития журнальной периодики последних трех лет.

Лимит подписки и не нужен и не оправдан — таков вывод ученых.

«В ходе подписной кампании в 1986 году (на 1987 год) и в 1987 году (на 1988 год) на динамику подписных тиражей влияли два фактора: вызванное перестройкой резкое изменение характера советской журналистики, то есть повышение качества журналов и снятие ограничений на подписку. Однако ожидаемого лавинообразного роста валового тиража не произошло, подписчик „проголосовал“ за более популярные, более отвечающие требованиям времени журналы. Произошло перераспределение тиражей в рамках сравнительно небольшого увеличения общего выпуска. Прирост тиража журналов в 1986 году был более значительным, чем в 1987. Разумеется, некоторую, хотя и не очень значительную роль сыграло сокращение розничной продажи периодики и сокращение ведомственной подписки. Однако в целом снятие лимитов оказалось весьма ценным опытом: обнаружилось, что при свободном определении тиражей спрос может быть удовлетворен без каких-либо крайних усилий промышленности.

После двух лет подобной практики не было оснований ожидать лавинообразного роста подписки на периодику и на 1989 год. Сейчас, когда предельная емкость (по подписке) измерена, можно утверждать, что при сохранении установок 1986—1987 гг. ресурсные потребности на 1989 год не намного превысили бы цифры 1988 года. По нашему прогнозу, пришлось бы выделить дополнительно к фондам прошлого года 17—18 тысяч тонн бумаги и 30—35 тысяч тонн газетной бумаги. Для нашей страны с ее 5 млн. тонн годового производства это составляет один процент прироста...

Совершенно очевидно, что ажиотаж в подписной кампании 1988 года вызван не столько действительной нехваткой ресурсов, на что сейчас ссылаются ответственные за это лица, а самой процедурой проведения кампании.

Как и в любом случае, когда принимаются необоснованные научно решения, предотвратить негативные последствия представляется трудным. Искусственный ажиотаж взвинчен, и простое снятие ограничений может привести к росту тиражей, не обеспеченных ресурсами.

Тем не менее, представляется целесообразным снять ограничения на подавляющее большинство газет и журналов (при необходимости компенсируя дефицит ресурсов снижением розницы), широко объявить об этом в средствах массовой информации и провести организованную нелимитированную подписку в трудовых коллективах.

Институт книги».

19 октября прошлого года Совет Министров СССР рассмотрел вопрос о положении дел с подпиской на газеты и журналы.

Правительство страны приняло к сведению сообщение министра связи СССР о том, что ограничения в подписке на все издания снимаются — и срок подписки продлен был до 15 ноября.

И вот последнее решение: подписка на 1990 год началась со 2 января 1989 года. Можете свободно выписывать «Аврору»-90 уже сейчас.

Геннадий Морозов

Северная ширь

На севере есть розовые мхи
И. А. Бунин

Она казалась неоглядной,
распахнутой на целый свет.
В нее я вглядывался жадно
на протяженье стольких лет!

По ней ходил,
над ней летал я,
в моторке мчался по реке.
Порой, голодный и усталый,
я увязал в речном песке.

Шел сквозь горельник
и трясину,
и был рискован каждый шаг.
Сгибал мою худую спину
геологический рюкзак.

О, эти сумрачные дали!
О, этот северный размах!
Ветра тугие выдували
соленый пот моих рубах!

Забуду их едва ли скоро —
ветра метельные и льды,
трясины, вышки и заборы,
колючих проволок ряды,

костры, таежное бестропье
и стынь полярной широты,
где посреди трясинных топей
цветут полярные цветы.

Волна

Широк и свеж реки простор.
Ни катерка,
ни всплеска рыбы.
В реке,
как лавы снежных гор,
Клубятся облачные глыбы.
Волна, ломая тень лозы,
Хоть и качается лениво —
Таит угрюмый гул грозы
В темно-лиловых переливах.

Веет прохладой

Воды бурливые гонит река,
выбросив лодки на мели.
Низко прошли
над землей облака
и от земли потемнели.
Веет прохладой
любой перелог,
стала потверже дорога.
Родина вешняя! Каждый
комок
хочется робко потрогать!
Родина! Певчие птицы твои
дружно поют, голосисто!
Но не певали еще соловьи —
только лишь перышки чистят!
Скоро соловушка —
вешний горнист —
свистнет... Заря заалеет.
Небо услышит
пронзительный свист.
И, как река, посветлеет.



Людмила Вострецова

ФИЛОНОВ

Больше двух месяцев работала в залах Русского музея выставка Павла Николаевича Филонова.

В музейной работе создание экспозиции — один из самых ответственных, трудных и в то же время один из самых радостных моментов. Творчество Павла Николаевича Филонова пока не назовешь хорошо изученным. Его подлинное осмысление, глубокая оценка, точное определение его места в искусстве русском и мировом еще впереди. Даже очень известные работы на экспозиции проявляют свой характер: «спорят» друг с другом, «требуют» себе определенного места... Здесь же перед нами, создателями экспозиции, оказалось двести произведений, которые никогда не приходилось видеть одновременно, и лишь немногие из них включались в состав различных выставок. Мы стояли перед землей незнаемой...

Нужно было найти ключ — работу, которая обозначила бы кульминационную точку экспозиции, определила «тональность» всего восприятия выставки. Выбрать ли достаточно известный, трагически напряженный «Пир королей» или по-возрожденчески гармоничную «Крестьянскую семью»? Но когда через анфиладу трех первых залов засверкала на стене «Формула весны», мы поняли: это то, что нужно. Мерцающее, нарастающее, «гудящее» звучание цвета пульсирует на полотне, рождая ощущение бурлящих токов жизни, постоянного зарождения и обновления, вечного начала. В своих дневниках Филонов несколько раз пишет о картине с названием «Формула вечной весны». Может быть, он имел в виду именно это полотно? Потому что здесь (как и во всем своем творчестве) художник стремился прозреть вечное в настоящем, проникнуть в самую суть жизни, открыть ее законы. Перед нами зрелый художник со своим творческим методом. Он ни на кого не похож. Он открыл свой способ познания мира.

В залах до «Формулы весны» расположились работы, принадлежащие к раннему периоду

творчества, начиная от рисунка, сделанного одиннадцатилетним мальчиком. Карандашом и акварелью старательно изображен небольшой двухэтажный деревянный дом под зеленой крышей. В этом доме жила в Москве семья Филоновых. Павел Николаевич родился в Москве же — в 1883 году. «Мать брала в стирку белье. Отец был кучером, затем, недолго, извозчиком», — пишет он в своей автобиографии.

Рисовать Филонов начал рано. Мальчиком, до одиннадцати лет, был танцором и плясуном в кордебалетах московских театров. Для заработка вместе с сестрами вышивал полотенца и скатерти. Когда умерли родители, он в 1896 году перебирается в Петербург к старшей сестре. Здесь поступает в живописно-малярные мастерские, а затем в частную художественную мастерскую Дмитриева-Кавказского. В 1908 году Филонов становится вольнослушателем живописного факультета Академии художеств. Но через два года покидает ее.

1910—1911 годы — переломные в творчестве художника. Он оставляет Академию художеств, но продолжает встречаться с молодыми поэтами, художниками, музыкантами, объединившимися в «Союз молодежи». Становится членом этой группы. Зимой 1910 года он пишет и выставляет на выставке «Союза молодежи» картину «Головы», с которой начинается самостоятельный путь в искусстве, не имеющий аналогии не только у нас, на родине, но и в мире.

На нашей выставке показанная в одной витрине с пейзажем 1907 года работа эта очень наглядно дает понять, какой резкий поворот сделал художник. От традиционного, классически выверенного, решенного в академической коричнево-зеленой гамме пейзажа — к символически недосказанной, полной тревожных ощущений композиции небольшого картона.

И теперь художник с каждой последующей работой требует от зрителя все более напряженного внимания, все более активной работы души и мысли, чтобы постичь образный мир его полотен. Безусловно, чтобы понять Филонова, необходимо представлять время, в которое он жил и формировался как художник. Характерное для многих его современников ощущение времени как кризисного, рубежного, ожидание и предчувствие перемен, неприятие действительности и стремление через прикосновение к живительным народным истокам найти путь к обновлению было присуще в этот период и Филонову. Как и многие крупные мастера той эпохи, он ощущал, что все токи времени проходят через него. Видимо поэтому появляются у художника композиции со всадниками, пронизанные мистическим духом апокалипсиса. Город, в котором он живет, предстает перед ним теснящимися домами с изломанными фигурами людей среди них. Вглядываешься и начинаешь понимать, что не фигуры изломаны — надломлены, утомлены, искалечены души этих «Мужчин и женщин». Тяжесть непомерного труда, пригибающую к земле плечи «Рабочих», физически ощущаешь, глядя на тяжеловесные фигуры с огромными руками. Такое восприятие города как источника зла можно найти у многих современников Филонова: Блока, Гумилева, Белого и, конечно, у поэтов, тесно связанных с художником дружескими и творческими отношениями — Хлебникова, Гуро, Заболоцкого, Каменского.

Городской реальности художник противопоставил своеобразную притчу — цикл картин «Ввод в мировой расцвет»: «Цветы ми-

рового расцвета», «Крестьянская семья», «Трое за столом», «Поклонение волхвов». Он пытается найти утраченные, изначально естественные, связи с природой, вернуть на землю мир без вражды и насилия, мир всеобщего согласия и гармоничной справедливости — «мирового расцвета». В работах второй серии видны и истоки творчества Филонова, и будущая «Формула весны».

Сначала в рисунке графитным карандашом появляется у художника щедро усыпанный пышными распустившимися бутонами комнатный цветок («Цветы», 1912—1913). Но это уже не просто зарисовка. Это бутоны — кристаллы будущих цветов мирового расцвета, в которых еще ясно видны истоки народного искусства — хорошо знакомой с детства вышивки, разноцветных ковров, сшитых из мелких кусочков ткани, составляющих мозаичный узор. И хотя рисунок выполнен графитом, в разнообразии тоновой насыщенности ощущается звонкий колорит прообразов. А затем пышные букеты цветов начинают вторгаться в сложный мир композиций, противопоставляя животворящую обильную силу природы тесному городу («Девушка с цветком», 1913), становясь смысловым центром композиций («Садовник», 1912—1913, «Трое за столом», 1914—1915) и, наконец, преобразившись, став гимном миру, победившему вражду и насилие в «Цветах мирового расцвета» (1915).

Именно в этот период, в 1914 году, появляется манифест группы художников «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков „Сделанные картины“». И в нем Филоновым был провозглашен «принцип сделанности», который становится основой аналитического метода. Геометрическому и механически-холодному кубизму, который к этому времени прочно завоевал европейскую известность, Филонов противопоставил свободное развитие формы, органическое, как он говорил сам. Каждое прикосновение кисти и карандаша к холсту или бумаге (художник называл картинами не только свои работы маслом, но также акварели и рисунки) — это уже творение формы — цветом, размером мазка, его фактурой. Каждый такой мазок — «единица действия», выстраивающая картину от частного к общему. Не противиться природе, не втискивать ее в прокрустово ложе заранее заданных канонов, а, познав внутренние законы ее развития, в согласии с ней творить мир своих полотен — вот кредо художника.

Осенью 1916 года Филонов был мобилизован. Он попадает на Румынский фронт, где и встречает Февральскую революцию. Избирается председателем солдатского съезда гарнизона в городе Измаиле, входит в военно-революционный комитет Придунайского края.

В 1918 году он возвращается в Петроград и вновь включается в художественную жизнь. Меняется содержание творчества художника: теперь основное внимание он отдает темам революции, гражданской войны, пролетариата. Но не меняется творческий метод, наоборот, он все более углубляется и получает подробно разработанное теоретическое обоснование. Филонов пишет в 1923 году о «глазе видящем» и «глазе знающем». «Глаз видящий» видит форму и цвет предмета, а «глаз знающий» помогает обнаружить и выстроить внутренние взаимосвязи, которые художник улавливает интуицией и переносит в свои произведения «формой изобретаемой». «Тема и сюжеты с течением времени отмирают, — считал Филонов, — остается только сделанность вещи. Сделанность рождается... из тщатель-

нейшей проработанности каждого миллиметра вещи». По мнению Филонова, сделанности можно научить каждого, и именно это делало произведение доступным каждому, а сам метод — революционным и ведущим к пролетаризации искусства. Все работы для мастера — звенья одной цепи, их смысл — создать прообраз будущего, для которого тесны рамки обыденного, рамки земного, и требуется космический масштаб. Филонов поистине «великий поэт пространства», как назвал его художник Матюшин. Всмотритесь в мощь движения, которым пронизана «Формула революции». Оно идет из глубины, все более нарастая, сгущая цвет, сгущая сами первоначальные частицы, из которых созидается неведомый дотоле мир с проступающим, чтобы заполыхать новым светом, словом «революция». Революция всеземного, всемирного охвата, ликующее торжество новой системы, новой логики, нового порядка.

В 1919 году Филонов предложил Луначарскому создать серию картин на революционные темы. Почти одновременно с «Формулой революции» появляются «Формула расцвета. Последняя стадия коммунизма», «Формула империализма», «Формула контрреволюции», «Формула комсомольца», «Формула космоса» и одухотвореннейшая «Формула весны».

Почти полностью один из залов отдали мы «формулам». И перед нами возник не просто Филонов-художник, но мыслитель и философ. Естественные науки начала XX века раздвинули Вселенную, заставили осмысливать парадоксы новых пространств. Но человек остался центром мирозданья — так считает Филонов-философ.

Художник ищет пластические формулы бытия, исследует вселенную и человека. От лица ребенка — к старческому лицу и снова к импульсу возрождения, к творческой формуле движения. «Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека», — пишет Филонов в пояснении к выставленным работам своих учеников — коллектива Мастеров аналитического искусства (МАИ). Эта выставка состоялась в 1928—1929 годах. Школа Филонова была самой многочисленной из всех школ русского авангарда. Около семидесяти человек прошли через его мастерскую, впервые выступив как сложившийся коллектив еще в 1927 году — на выставке в Доме печати. В 1987 году на Литейном проспекте в выставочных залах Дирекции объединения музеев Ленинградской области состоялась выставка работ учеников Филонова. Это именно они, Павел Кондратьев, Алиса Порет, Борис Гурвич, Юрий Хржановский, Татьяна Глебова, входившие в МАИ, вместе с другими учениками донесли до наших дней в своем творчестве традиции мастера.

Очень сложно рассказывать о Филонове. Видимо, эта попытка равносильна задаче пересказать словами музыку. На наших глазах происходит возвращение мастера. Сильная и яркая личность, талантливый художник, так долго шедший и наконец пришедший в наше сегодня. Павел Николаевич Филонов по праву занимает ведущее место в искусстве XX века.

Художник не продавал своих работ, он собирался передать их государству для создания музея аналитического искусства. Выполняя его волю, сестра Филонова, Евдокия Николаевна Глебова, сохранив работы брата после его смерти в тяжелые годы блокады, передала их в 1977 году в дар Государственному Русскому музею.

РБН РАЗДЕЛ БЕЗ НАЗВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАРЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ РБН С НОВЫМ ГОДОМ, А НОВЫХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!

СЛАВА И ХВАЛА ПОБЕДИТЕЛЯМ РБН-88!!!

ЧЕМПИОНЫ: В. П. КИСЕЛЕВ (Свердловск), Л. В. РЯДНОВА (Москва), Г. А. СЕМЕНОВА (Ленинград).

БОЛЬШОЙ ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК: Семья КОЛОТИЛКИНЫХ (Горький).

МАЛЫЙ ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК: Е. А. АСНИС (Ленинград), Г. КЛИМОВСКАЯ и М. МХИТАРЯН (Москва), семья КОЗЛОВЫХ (Подольск), сестры СМИРНОВЫ (Донецк), В. Н. ЭЙХЕНБАУМ (Новгород).

ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ: Л. А. БАКУРСКИЙ (Ленинград), С. Н. БОГДАНОВА (Симферополь), И. В. ГОЛОВАЧЕВА (Львов), Л. Ф. ДЕМИДОВА (Москва), Б. А. ЛЫЧЕВ (Волгоград), В. Г. МЕЗЕНЦЕВА (Кировоград).

Поздравляем победителей! Ободряем успешно проделавших РАЗМИНКУ! Приглашаем новых участников заглянуть в № 9 — 1988, прочитать правила и войти в игру — самое время, ибо начинается I ЭТАП!

Позапрошлой осенью в электричке невольно услышала я такой разговор. МАМАША *(в «адидасовском» спортивном костюме и в диапазоне от учительницы литературы до завуча).* Просто не понимаю, как можно «Белые одежды» относить к художественной литературе. *(К дочери)* Совершенно незачем тебе это читать. ДОЧЬ *(в «адидасовском» спортивном костюме, плотно облегающем ее плотное тело десятиклассницы и карьеристки).* А я и не собиралась; зачем вообще «Неву» выписали? МАМАША. Все же был шум, я ждала действительно настоящей вещи, а тут... ДЕД *(несмотря на духоту, в толстом пиджаке и при узком черном галстуке).* А я всегда говорил: Дудинцев — не писатель. Еще когда «Не хлебом единым» муссировали, говорил: это не литература, а голая публицистика. МАМАША. Ну и писал бы себе статьи. Уж если не дано таланта, так не дано. ДОЧЬ. А когда же тебе «Детей Арбата» дадут? МАМАША. Физичка на той неделе принесет.

СЕМЕЙНОЕ МНЕНИЕ
Ведет Татьяна Сергеевна

Что до «Белых одежд» (+++++ по нашей шкале), то надо видеть, как испещрены страницы романа пометами Евпатия, ИВ да и моими! Помню, некогда ИВ, выступая в довольно большой аудитории с лекцией, заявил: «Вовсе не обязательно любить Пушкина, даже знать его — не есть обязательность». Аудитория зашу-

мела почти угрожающе, готовая к защите национальной гордости. ИВ улыбнулся и спросил: «Многие ли из вас хотя бы заглядывали в Библию? (Дело было в 1971 году.) Признайтесь, Книга книг ведь не меньше Пушкина?». А затем — то приводя пушкинские же мысли о цензуре, то вдруг вспоминая забытые ныне правила поведения за обычным семейным столом, то цитируя современников Пушкина — дал нам понять разницу между нормативностью государственных предписаний, воплощенной в школьных программах, и культурной традицией как средой обитания, которая сама есть условие рождения свободной любви свободного в выборе человека. Враждебность аудитории сменилась улыбками понимания и приязни.

Любая безапелляционность неприятна, но когда видишь ее в учителе — становится страшно. Меня пугают тугие обоймы имен свежей выделки, готовые к выстрелам во всякого, кто не то что не согласен с их составом, а просто в стороне. Да и сами обоймы составлены довольно странно. Меня настораживает какая-то мощная тенденция к «вселенской смази», когда, скажем, неудачный, на мой взгляд, роман Тендрякова «Покушение на миражи» (разве можно сравнить с его же «Поденкой...»!) ставят в один ряд с «Печальным детективом» и «Собачьим сердцем», а те же «Дети Арбата» оказываются рост в рост с «Покаянием» и «Котлованом». Обойменные восторги и обойменные залпы противников, обойменное общение и обойменная престижность...

Мои сверхкраткие — куда там обзоры, скорее, оглавления — лишь попытка общения, а не указательный палец литературной наставницы в «адидасе». Что ж делать, если мнение нашей семьи первым вышло на листочки РБН. Мы лишь прокладываем дорогу вам.

А теперь — проба и просьба. Пять плюсов — это серьезно. Применительно к научным статьям и публицистике шкала отличается от данной в № 11 — 1988. Здесь важнее всего острота, ожог актуальности и — действенность. Если не силы и власти общества, то каждый из нас от статьи с +++++ может взять многое. Итак — блок из трех публикаций ранга +++++.

Долгие десятилетия слово «обобщение» не сулило ничего хорошего тому, кому инкриминировалось обозначаемое им деяние. Из дневника Евпатия за 1965 год: «Разрешено показывать зло в частных его проявлениях, но избави боже уследить тенденцию ко злу, выявить типические его черты, вынести приговор целому движению общественной жизни. Как будто оттого, что мы, показав отдельный зуб волка, хвост его, волчью лапу, не покажем всего волка, сам волк перестанет существовать». И вот в статье Г. Попова «С точки зрения экономиста» в № 4 — 1987 журнала «Наука и жизнь» повадки волка описаны и разъяснены внятно, и сам он получил имя — АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА. Тот же автор и в том же журнале продолжил свое исследование статьей «Система и зубры» (№ 3 — 1988).

Третью составляющую блока образуют три статьи в журнале «Знание — сила» (№ 1 — 1988). Статья доктора технических наук А. Ефимова «Элитные группы, их возникновение и эволюция» настолько крута, что потребовала мощного эскорта. Его обеспечили академик Н. Моисеев и доктор философии Р. Карпинская.

Прочтите, пожалуйста, или перечитайте все три публикации кряду и напишите нам, что вы ощутили: ставшее уже привычным горестное наслаждение узнавания или счастье работника, получившего в руки отлично сделанный инструмент.

РБН

В ГОСТЯХ У ЕВПАТИЯ
Ведет Аленка

Дельная вещь магнитофон. Обитай мы не в «Авроре», а на радио или ТВ, мне бы вообще работы не было: врубай маг или видик — и отсылай пленку на вырезание. Ну да ладно. Середина августа (минувшего, разумеется), сидим мы в гостиной без гостей и создаем новогоднюю атмосферу.

ЕВПАТИЙ. Есть первое задание! Я хотел было сам прокомментировать нынешнюю картинку, да уж пусть лучше читатели голову поломают. Итак. В ЧЕМ СМЫСЛ ИЗОБРАЖЕННОГО ШЕСТВИЯ?

ТС. Маловато. Многие просили затеять «ПОДРАЖАЙКУ»...

ГЛЕБ. Точка! В тот раз моя загадка не влезла, а уж такая махонькая!

ЗАГАДКА ГЛЕБА

«Миллион, миллион, миллион, миллион
Видишь ты, видишь ты, видишь ты».
КТО ТАКИЕ СЛОВА СОЧИНИЛ?

АЛЕНКА. *Каюсь, я тогда фыркнула, а потом задавала ее в классе — всего трое правильно ответили. Ну уж коли припоминать шлягеры минувших лет... (Уходит, возвращается с пластинкой.) Вот старенькая, еще шеллачная, тяжеленькая. Польская. Послушайте.*

ЗАГАДКА АЛЕНКИ

Певец Збигнев Куртич. Слова Ежи Керна. Перевод Аленки:

«За горами, право слово,
Есть местечко Гитарово...»
ИЗ БОЛЕЕ БЛИЗКОГО ВРЕМЕНИ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

ЕВПАТИЙ. Стоп, стоп! Это, братцы, не «ПОДРАЖАЙКА». Ну-ка, ТС!

ТС. Я смладу до дурости читала все предисловия. Сколько жизни потрачено. Хорошо, ИВ отучил. Тошно делается, когда суконным языком содержание книги заранее пересказывают. Вот вам кусочек предисловия, далеко не худшего притом.

ЗАГАДКА ТС

«Политическое содержание этой басни, действительно, отличается исключительной остротой. Царь-лев невзлюбил пестрых овец, но хотел расправиться с ними, соблюдая всю видимость закона и правосудия. Когда призванный им на совет ретиво-неуклюжий служака медведь предложил без дальних слов «передушить овец», лев недовольно «нахмурил брови». Вывела его из затруднения лиса, «смиренно» присоветовавшая «доброму царю» отвести овечкам самые тучные луга, но приставить к ним пастухами волков. «Мнение» лисы понравилось и было принято. В результате в львином царстве скоро стало мало не только пестрых, но и гладких овец. Особенно красноречива концовка — «мораль» басни: «Какие ж у зверей пошли на это толки? Что лев бы и хорош, да все злодеи волки!» Сам баснописец, наоборот, явно внушает своей басней читателю прямо противоположную мысль: как бы злодейски ни поступали волки с овцами, главным и действительным виновником всего этого является сам «добрый царь» — лев.

ЕВПАТИЙ. Прелесть. И обилие кавычек, и то, что пересказ длиннее самой басни, хоть по языку малость уступает. Я так понял, в загадке кроется еще и подвох?

ТС. Да. Надо угадать название гениальной басни, ее автора и... разгадать подвох.

ИВ. Подвох несколько облегчает мое положение. В одном из моих капустников персонажи попадают в Павильон Кривых Зеркал и, забыв про обстановку, начинают читать свои и чужие стихи. Выходит, однако, нечто для них неожиданное. Итак...

ЗАГАДКА ИВ

«Я в течение неопределенного периода истекшего времени испытывал по отношению к Вам половое чувство. Не следует исключать известную вероятность того, что вышеназванное чувство не окончательно упразднено и ликвидировано в определенном отделе моей высшей нервной деятельности, но, тем не менее, не рекомендую Вам позволять себе допускать предположения о том, что данное чувство может и впредь являться источником стрессовых состояний, поскольку лично я не испытываю настоятельной необходимости доставлять Вам служебные или личные неприятности каким бы то ни было образом».

ЕВПАТИЙ. Шедевр русской лирики в пересказе заболевшего канцеляритом. Живуч окаянный, вроде гриппа. Но и ханжество тоже. Боюсь, тебя же, ИВ, и обвинят в кощунстве и искажении классики. Так ведь это же вроде прививки — быть может, иммунитет установится, да и виднее станут гнездовья канцеляритовы. И потом, чем выше оригинал, тем сильнее гротеск.

ИВ. Спасибо за оправдания. Помогут ли? Ах, да, вопрос.

КАКОЙ ШЕДЕВР СТОИТ ЗА ЭТИМ БРЕДОМ?

ЕВПАТИЙ. Ого! Дело к полуночи. О долгах подумать надобно.

ГЛЕБ. Давайте, пора, пора. Ура, ура! «Триумф Глеба»!

ЕВПАТИЙ. Погоди, есть и более древние. (Бормочет.) Впрочем... Полтриумфа... Двух зайцев... Меркурий во втором доме... Да, предлагаю РБН-89 несколько развернуть в сторону Глеба. Вот славное письмецо Р. С. Чарыковой: «Запала мне в голову идея: познакомиться с Вами поближе. Достала «Аврору» за 1986 год и стала штудировать Вашу родословную. Подивилась трудолюбию, жизнерадостности и игривости в ваши 107 лет+2 года, которые я вас знаю заочно. Завидую и восхищаюсь!!! А ваша правнучка и особенно правнук меня пленили». Что ж, исполним обещание. Глеб, садись писать заглавие тушью, а я — за машинку. (Печатает.)

«Не без робости представляем мы на ваш суд отрывки из книжки, записанной вслед за жизнью в тетрадках и на клочках бумаги родителями Глеба. Помню, в двадцатые годы публиковалось довольно много родительских дневников, полных не только естественного умиления, но и тонких наблюдений за жизнью самых маленьких человечков страны. Потом это обилие поиссякло — по причинам слишком ясным. Затем явилась собравшая в себя исполинский запас впечатлений и опыта тысяч и тысяч людей мудрая книга Корнея Чуковского «От двух до пяти». Наряду со Споком и Корчаком она должна быть в каждом доме. И все же никакое обобщение не заменит единственности ребенка. Вот нам и хочется возродить традицию родительских дневников — пусть они будут в каждой семье. Вам добавится труда? Не так уж много, уверяю вас. Зато как возрастет ваша наблюдательность, как углубится ваше понимание детей, сколько открытий, радостей, изумлений не исчезнет бесследно. «Малолетний ребенок есть величайший труженик нашей планеты»,— эта мысль Корнея Ивановича доходит не сразу, собственный опыт поможет вам ее постичь. Великий натуралист Конрад Лоренц сказал: «Мы зачастую переоцениваем интеллектуальные способности животных и недооцениваем сложности их эмоциональной жизни». Что греха таить, не в зверюшках — в детях недооцениваем мы порой и то и другое. Сколько знаю я семей, имеющих магнитофоны, порой роскошные, но так и не записавших первых речей собственного ребенка, имеющих фотокамеры, но обходящихся сусальными фотками из ателье. Магнитофонные записи Глеба и рассказы о нем взрослых составили бы толстенную книгу. Оставим их в стороне и ограничимся ежедневными почеркушками, которые каждому по силам.

Не стану вводить подробностей родственных отношений в нашем доме, где три фамилии, но одна семья. В ту пору, о которой пойдет речь, мы жили врозь. Меня в городе не было. Аленка жила отдельно. ТС, ИВ и Глеб то жили на набережной Пряжки в доме, много лет обреченном на слом, где были книги и картины, но также выбитые окна, обваливающиеся потолки и многое другое, понуждающее сбегать в крохотную квартирку дедушки с бабушкой, людей от всяких искусств весьма далеких. Пусть не шокируют вас неловкие подробности чужого быта — мы оставляем их не из

желания пожаловаться незнакомым людям, свойственного, впрочем, человеку, но из-за той роли, какую, к сожалению, неприметно для нас они играют в жизни детей. Дети слышат все, видят все, понимают все, хоть и по-своему, и помнят все — и чаще не отдельной памятью, а изгибами и изломами характера. Жадность — это память, жестокость — это память; но и доброта, мужество — это тоже память. Предлагаемое вам — не изюминки, вынутые из теста жизни, не маленькие шедевры детскости. Это слабая попытка показать, насколько сложнее, возвышеннее, трагичнее и глубже душевная жизнь любого ребенка, нежели наши о ней представления. И еще, быть может, некий график забега, зная который, будем надеяться, легче будет бежать вам — рядом со своими детьми».

ЖИЗНЬ ГЛЕБА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ОТ ГОДИКА ДО ДВУХ

15 декабря 1980 года

Вот и годик Глебушке. В день рождения был он немного болен, но вел себя хорошо-прекрасно. Каждому гостю особое внимание оказал и страшно просил музыки.

Он уже кое-чему научился:

А. Один может пройти полкомнаты, если бы в шкаф не утыкался, мог бы и поболее.

Б. Полчашки молока выпивает сам.

В. Складывает и раскладывает пирамиду.

Г. После обеда на ручонки смотрит и на раковину, чтоб помыть.

Д. Очень помогает одеваться, ручонки в рукава просовывает и ножки в ползунки.

Е. Майлса Девиса полюбил, кричит громко, голосом играет, Неплохо у них вместе получается.

1 год 3 мес.

Полюбил Глеб книги, рассказывает на своем языке «Кота в сапогах», «Теремок», «Пиноккио». Помнит, какая следующая картинка, порой хохочет заранее, порой пугается — тоже заранее.

1 год 4 мес. ЧУВСТВО ЮМОРА

Глеб гуляет по комнате, я прилегла, вдруг звонок. Побежала босиком отворять. Возвращаюсь, а Глеб обул тапки, как и положено, но мои, взрослые. И ходит себе, улыбается со значением, да еще и убегает.

1 год 5 мес.

ИВ всего «Мойдодыра» прочитал, а Глеб слушал и ни разу не прервал папу. Во как!

1 год 6 мес. НЕ ТОТ СЛУЧАЙ

Дотянулся Глеб до «кавказской» конфеты на столе и взял в руки. А я ему и говорю: «Ну хорошо, отнеси папе». Понес Глеб

с веранды (мы на дачу все же выехали) в комнату, а по дороге съел. Я к ним прихожу, а у Глеба весь рот коричневый. Ох, и попало мне от ИВ: «Ты что, Макаренко начиталась?»

1 год 7 мес. ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Опускается Глеб сам по ступенькам крыльца и говорит сам себе в такт: «Так — мак, так — мак». И пошел на мак любоваться.

1 год 8 мес.

Глеб-огородник из лейки своей цветы поливает, лопаточкой своей настоящей землю копает по-настоящему. В огороде знает, где что растет и как называется.

ПАМЯТЬ

Приехала на дачу. Зовет гулять: «Мама, поле. Топ-топ поле. Дождя нет». На прогулке рассказываю, что папа ножку сломал и потому не приехал. Подходим к канаве, через которую прыгали, когда еще с папой гуляли, Глеб и говорит: «Мама пыг, папа нет, папа сломал нога. Гйеба пыг!»

1 год 9 мес. ПОМОЩНИК

— Гйеба мамочке будет помогать стиать, дыйочки зашивать.

1 год 10 мес. ПЕРВЫЙ ОБРАЗ

Вышли с Глебом вечером погулять. Темно, горят фонари, идет снег. Глеб поднял головку, смотрит-смотрит, а потом и говорит: «Мама, мама, смотьи, похоже, как комайики летают».

1 год 11 мес. ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Гуляли-гуляли с Глебом и набрели на разрушенную снежную бабу. Снег, правда, нелипкий был. Но я-таки говорю: «Глеб, давай снежную бабу лепить». — «Да, давай», — отвечает. Вот мы катали-катали шары и слепили. А нам еще помогали две девочки, одной пять лет, а вторая помладше. Призадумались: глаза не из чего сделать. А Глеб камушки предложил. И вот, когда уже слепили и глазки вставили, я и говорю: «Ну, давайте отойдем, посмотрим, что у нас получилось». Тут Глеб опять всех опередил: «Снежная баба похожа на Бармалея». А она и правда страшненькая очень получилась.

ЧУВСТВО ЮМОРА

Утром Глеб проснулся и зовет: «Мама, Гебочка хочет на потолок!» И смеется, заливается.

15 декабря 1981 года Глебу исполнилось два года



КОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

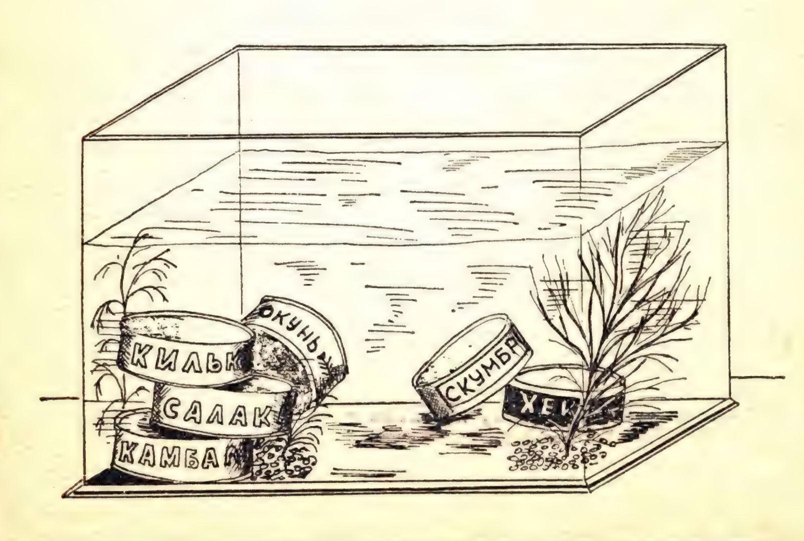
№ 70

У НАС В ГОСТЯХ

Сегодня в гостях у «Комического вестника» «Комический вестник» — так называется клуб сатиры и юмора при Ленинградском Дворце культуры работников пищевой промышленности и при отделе юмора журнала «Аврора». А может, это отдел юмора при Дворце культуры работников пищевой промышленности? Или дворец культуры при отделе юмора? Пес их разберет! Сейчас такое время — не поймешь, кто кого главней. И — где сатира, а где юмор.

В состав клуба входят как любители, так и профессионалы. Тут у них тоже черт ногу сломит: иной любитель зашибает больше гонораров, чем профессионал.

В общем, читайте и разбирайтесь сами: где вам лучше смеяться, а где — плакать.



ФЕЛЬЕТОН

Виктор БИЛЛЕВИЧ
Владимир НИКОЛЕНКО



Товарищи! Друзья мои! Братья и сестры! Может быть, я не прав. Может быть, кто-то думает иначе. Но я лично думаю так: что-то у нас с календарем!

Вот недавно был год Крысы. Что мы для крыс сделали? Ну, новые модели мышеловок повышенной комфортности. Ну, крысиный яд с улучшенными вкусовыми качествами. Допустим. А вы спросили у какой-нибудь крысы: стал для нее этот год настоящим праздником? Нет, не стал.

Потом год Быка грянул. Просторные мясокомбинаты, автоматические бойни и обещания повысить поголовье скота. А кончился год — и быкам вспомнить нечего.

Теперь вот змеи на очереди. Ждут чего-то, надеются.

Так, может, мы не по тому календарю живем? Может, не все японские традиции нам годятся? Вот харакири, допустим, у нас не прижилось. Значит, можно как-то без этой экзотики? Без этих драконов, обезьян и другой чуждой нам скотины?

Вот ведь был же у нас как-то год Ребенка. По нашему календарю. Хороший год. Потому что ребенок — это маленький человек. А маленький человек сам ничего не может. Мы с вами тоже, конечно, люди небольшие, но придумать что-нибудь можем. Пусть они весь год, например, ребенки эти, не собирают металлолом. Нам кажется — интересное предложение. Дети будут страшно довольны, а мы сэкономим массу нужных деталей.

Итак, если хотят, пусть женятся в восьмом классе. Все равно в девятом разведутся. А этот год запомнится на всю жизнь.

Или пусть они ходят в кино на что хотят. Потому что то, о чем они давно знают, давно и вырезано.

Или книжку «Приключения Буратино» выпустим тиражом не 100 экземпляров, а 200. А то и все 250! А что? Каждому крупному городу — по книжке.

И обязательно — эскимо на палочке! Или, может быть, навсегда утерян секрет его изготовления? Может быть, его выкрали? Или обменяли на страшную тайну покроя джинсов? Дети же читают Маршака в подлиннике, а не знают, что такое — эскимо. Многие думают, что это — чукча.

И давайте попробуем их одеть в легкую удобную обувь. Снимем с них эти ботиночки, к которым они так привыкли. Они же не водолазы! Дети — это цветы жизни. Которые с каждым годом становятся всё дороже и дороже. Тут, конечно, одного года мало.

Поэтому предлагаем и этот год считать годом Ребенка. И следующий. Пусть каждый год будет годом Ребенка!

Константин МЕЛИХАН

Альбом джентльмена

Поезд бежал на юг. Однообразные картины за окном бежали на север. Дама из моего купе скучала. Ей было жаль, что окно не переключается на другие программы. Чтобы как-то ее развлечь, я предложил ей игру:

— Давайте я буду рисовать, а вы будете отгадывать, что я нарисовал. Рисовать я буду чуть-чуть. Я ведь художник от слова «плохо». Больше нескольких линий нарисовать не могу.

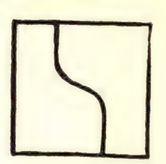
— Давайте, — согласилась она, — раз вы не можете придумать ничего интересней.



Вот и первая картинка. Моя дама долго думает и, наконец, говорит: «Сдаюсь!» «Правильно, — говорю я. — Это гитара без струн».

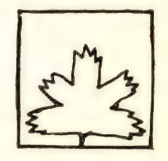


Едем дальше. «Это спичка»,—сказала моя дама. «Нет,—сказал я. — Это рука вашего мужа, когда он стал чемпионом по боксу».

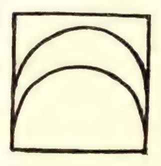


«Голое плечо? — переспросил я. — Довольно близко. Голый подбородок? Еще ближе. 2 рояля? Вы почти у цели. Это — две бутылки в чемодане».

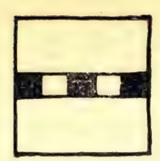
Вот мы и на южном пляже. Чтобы не загорать зря, мы и здесь продолжили игру в загадочные картинки.



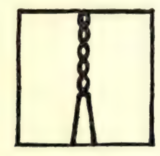
«Нет, — сказал я моей даме, — это не канадский хоккеист. Откуда хоккеист на южном пляже? Это падающая звезда, которая попала в окно».



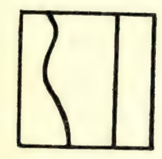
«А вот здесь много вариантов, если считать все парные части тела, начиная с коленей дамы, загорающей на спине. Но это всего лишь лысый джентльмен перед зеркалом».



«А вот здесь вы угадали. Это улыбка джентльмена после того, как он со своей дамой встретил ее мужа, который... (см. картинку № 2)»



«Безветрие».



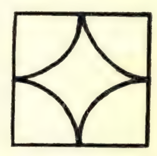
«Это не дамская ножка. И не виолончель и смычок. А просто дама и джентльмен».



«На первый взгляд кажется, что это Кавказские горы. На второй взгляд кажется, что это рога, которые дама привезла мужу с Кавказа (он теперь — горный козел). Но на самом деле — это пила, которой дама пилит мужа за то, что он не отпустил ее одну на Кавказ».



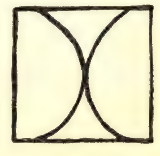
Сначала моя дама подумала, что это очки от солнца. Потом она подумала, что это бусы. Потом она подумала то же, что подумали вы. Но оказалось, что это двухарочный мост и его отражение в реке, на берегу которой мы загораем.



«Это не бубновый валет и не бубновая дама. А дама, целующаяся с джентльменом. Или наоборот — дама, поссорившаяся с джентльменом».

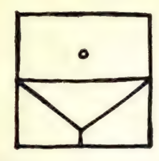


«Нет, это не гитара без струн. И не железная дорога, уходящая за горизонт. И не египетская пирамида. И не молочный пакет. Это моряк, который стоит на руках, чтобы понравиться моей даме».

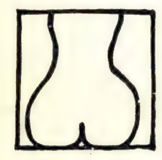


Сначала я сам не понял, что нарисовал. Я подумал, что это

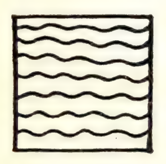
песочные часы. Потом я подумал то же, что и вы. Но только когда моя дама вылезла из воды, я догадался, что это капля, которая сейчас оторвется.



Это не то, что первым пришло вам в голову, а последний пузырек газа, вылетающий из бокала с шампанским, если вы оптимист, или яд, бросаемый в тот же бокал, если вы пессимист».



Правильно: это нижняя часть берцовой кости.



Здесь много ответов: 1. Ослабевшие струны. 2. Конспект студента. 3. Судовой журнал.

Если вам не нравятся эти ответы, придумайте лучше. Как, впрочем, и ответы на другие картинки.

Рисунки автора же.

АНТИПЬЯНИЗМЫ

Андрей МУРАЙ

ТРИ ДРУГА

Собравшись вечером втроем,
Кричали: «Пьем?!
Конечно, пьем!
С вином, не зная горьких бед,
Мы проживем до сотни лет».
Тут есть немаловажный штрих:
Сто лет прожили — на троих.

ОШИБКА В РАЦИОНЕ

Он массу самых разных дел
Хотел свершить,
но не свершил.
Не потому, что мало ел,
А потому, что много пил.

МЕЧТА

Когда бы алкоголик каждый
Пить начал только молоко,
Спиртное выплеснув однажды,
О, как бы стало жить легко,
Стал всяк бы весел и здоров,
Но где же столько
взять коров?!

МОГИЛА АЛКОГОЛИКА

Его забытая гробница
Чуть в отдалении была.
Там на лету пьянели птицы
И даже травка не росла.



КОМИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

Эдуард ДВОРКИН



КОРОБКА

Удодов купил коробку конфет.

Открыл и залюбовался—конфеты были уложены очень красиво. «Укладчица № 5» значилось на вложенной в коробку бумажке.

В тот же день Удодов поехал на кондитерскую фабрику.

— Простите, вы не укладчица № 5? — спрашивал он выходящих с работы девушек.

— Нет, — отвечали девушки, — я — укладчица № 18, № 26, № 34.

Наконец, одна из девушек, рослая голубоглазая блондинка, ответила:

— Да, это я. А в чем дело?

— Вы так красиво уложили конфеты, — сказал Удодов, — я приехал вас поблагодарить.

— Я — укладчица широкого профиля! — с гордостью призналась девушка.

Они пошли по улице вместе и случайно оказались у Удодова дома.

— Ах, какой замечательный малыш! — воскликнула девушка, наткнувшись в коридоре на плачущего ребенка. — Это ваш?

— Соседский! — отмахнулся Удодов. — Сами уходят, а ребенка оставляют.

— Сейчас я его уложу! — сказала девушка, и через несколько минут малыш уже спокойно спал у себя в кроватке.

— А почему это вы такой лохматый? — спросила девушка у Удодова и тут же красиво уложила ему волосы.

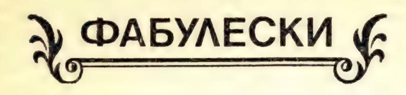
Время пролетело быстро. Удодов пошел провожать девушку.

— Ну-ка, очкарик, гони двадцать копеек! — преградил им дорогу в темном дворе хулиган.

— Не беспокойтесь! — улыбнулась Удодову девушка и ловким приемом уложила хулигана на асфальт.

— Выходите за меня замуж! — решился вдруг Удодов, — но учтите, я зарабатываю немного...

— Ничего! — сказала девушка решительно. — Уложимся!



БОРЦЫ С ГОЛОЛЕДОМ

Активно включились в борьбу с гололедом работники ЖЭКов Мочаловского района. Теперь возле каждого опасного места висит список всех близлежащих травмпунктов.

Анатолий Гринберг

ДОГАДЛИВЫЕ СТАРИКИ

Старик и старуха догадались, что яйцо золотое, только после 583-й пробы разбить его.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НОВОСТИ

«Только без рук!» — заявила Праксителю Венера Милосская, соглашаясь ему позировать.

ПОКОРЕНИЕ ПРИРОДЫ

Крупного успеха в дальнейшем покорении природы добились гидротехники Корабельнопольского района. Повернутая ими на 90 градусов речка Шайба течет теперь поперек русла, что значительно упростило работу местных паромщиков.

Всеволод Мельников

КОНЕЦ БИЗНЕСМЕНА

Задержан матерый спекулянт, известный под кличкой Грош. Стоя у телефонов-автоматов, он продавал по завышенным ценам двухкопеечные монеты.

СТРОГАЯ МЕРА

В городе Хмурове пешеходу, перебежавшему дорогу на красный свет, предлагают перебежать ее еще три раза.

Александр Смирнов

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ

— Почему эта музыка называется «хэви-метал»?

— А после нее голова чугунная.

СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ ЯЩИК

Завод «Почтовый ящик № 13/13» был настолько засекреченным предприятием, что там никого не подпускали к работе и ничего не выпускали.

РЕЗЮМЕ УЧЕНОГО

«Наша история — это сплошное белое пятно!» — к такому выводу пришел доктор исторических наук Нестор Летописцев, докладывая ученому совету о результатах экзаменационной сессии.

Александр Качанов

ИЗ ФУТБОЛЬНОГО ОТЧЕТА

Силы участников матча были примерно равными. Поэтому в итоге — примерно ничья.

Александр Полецкий

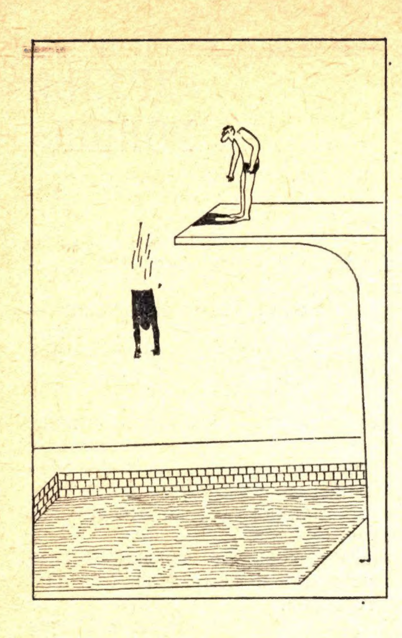
НА УРОКЕ ЗООЛОГИИ

— Назовите парнокопытное животное, — сказала учительница.

Первым поднял руку Вася.

— Парнокопытное животное — это черт!

Юрий Буковский



Рисунки Виктора Биллевича



ИТОГИ

Лауреатами конкурса «Миниатюра-88» стали школьники, принявшие участие в составлении «Юмористической энциклопедии». Редакция «Комического вестника» получила сотни писем, из которых узнала, что школьники шутят во многих городах, деревнях, лесах, полях и на реках нашей страны.

Просьба к остальным школьникам (которые не прислали нам письма с «Юмористической энциклопедией», а такие еще есть) — присылать только то, что не было опубликовано в «Комическом вестнике».

А победителями среди взрослых шутников стали Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ («Аукцион мыслей») и Лев ГАВРИЛОВ («Сказки без подсказки»).

Напоминаем, что конкурс на лучшую миниатюру продолжается, но на присланные фразы и фабулески, эпиграммы и дуплеты, короткие сказки, юморески и стихи редакция не отвечает.

ВЕСТИ С КНИЖНЫХ ПОЛЕЙ

Вышел в свет юмористический сборник молодого петрозаводского сатирика Геннадия Горячего «К ВОПРОСУ О ПРИШЕЛЬЦАХ» (Петрозаводск: Карелия, 1988, — 72 с.), в котором собрано несколько десятков его рассказов и миниатюр.

Макет и оформление Георгия Светозарова



«ДРУЗЬЯ РОПШИ»

Похоже, что над Ропшей с тех пор, как здесь был убит незадачливый император Петр III, повисло проклятие.

...А первоначально здесь задумывалась «Русская Версалия» — так другой Петр, Великий, назвал проект устройства здесь своего летнего дворца. Тогда в Ропше началось масштабное строительство, сооружались пруды и фонтаны, разбивались сады и парки. Его преемники тоже жаловали Ропшу своими заботами.

Разрушительные силы вдоволь развернулись в XX веке. Большие беды принесла война, но еще большие — новые, нерадивые хозяева дворца. Сперва здесь размещались военные казармы, затем — объединение «Промрыбвод», доведшее дворец до аварийного состояния. Десятки раз штрафовали бессовестного арендатора, но это никоим образом не отражалось на состоянии памятника.

Новый владелец усадьбы — Агропром, серьезно взялся за приведение в порядок дворца, решив устроить в нем профилакторий с музеефикацией ряда дворцовых интерьеров.

И еще одна важная особенность поворотного момента: в Ропше появилась группа добровольцев-реставраторов, назвавшая себя «Друзья Ропши». У нее есть конкретный день рождения — 5 сентября 1987 года, когда на призыв Фонда культуры помочь Ропше откликнулось около сотни ленинградцев. Многие стали приезжать сюда постоянно. Группа зарегистрировала себя в молодежном реставрационном центре. Помимо непосредственной помощи (восстановительные работы планируется вести до 1992 года) группа поставила перед собой цель разумного сочетания хозрасчетного и альтруистического начала в добровольческой деятельности. Все это ускорит процесс возрождения памятника, создаст гарантии его качественной реставрации и достойного использования в будущем.

Дай бог, чтобы у каждого памятника, попавшего в беду, нашлись такие друзья.

Михаил Талалай

Адрес редакции: 191065, ЛЕНИНГРАД, ул. ХАЛТУРИНА, д. 4. Телефон: 312-13-23.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию им. Володарского Лениздата. Отдел технического контроля — тел. 310-57-51.

Сдано в набор 26.09.1988. Подписано в печать 09.12.1988. М-25799. Формат 84×108 1/32. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,24. Уч.-изд. л. 12. Печ. л. 5. Тираж 866 506 экз. Зак. 670. Цена 50 коп.
Типография им. Володарского Лениздата. 191023, Ленинград, наб. р. Фонтанки, 57.



Ленинградская область.
Так сейчас выглядит Ропшинский дворец.
Но тут работает общественная группа «Друзья Ропши»...

Адрес подписчика

Цена 50 коп.
Индекс 70033

Картину Сальвадора Дали, фрагмент которой публикуется, зрители Москвы и Ленинграда увидели среди шедевров живописи XX века из собрания барона Ганса Генриха Тиссен-Борнемиса (Швейцария) летом прошлого года. Особый интерес к творчеству Дали, самого экстравагантного художника XX века, вызван еще и тем, что его работ в советских музеях нет.



Сальвадор Дали. «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (фрагмент)